РАДЕК РАК

18+

СКАЗ О ЗМЕИНОМ СЕРДЦЕ

или Второе слово о Якубе Шеле

ИНАЯ ФАНТАСТИКА

Иная фантастика

Радек Рак

Сказ о змеином сердце, или Второе слово о Якубе Шеле

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.162.1
ББК 84(4Пол)

Рак Р.

Сказ о змеином сердце, или Второе слово о Якубе Шеле / Р. Рак — «Издательство АСТ», 2019 — (Иная фантастика)

ISBN 978-5-17-145423-4

Сказывают, что Якуб Шеля, простой батрак, сердце свое из груди вырезал, да и отдал девушке, что пришлась ему по душе. Но ничего хорошего из того не вышло, ведь девушка была не простая, да и не из человеческого племени. И решил тогда Шеля судьбу свою изменить, хозяином стать, а не слугой, и для этого пришлось заключить ему уговор со змеиным народом, спуститься в подземное царство, дабы найти Змеиного Короля. Только там, где живут настоящие демоны, ведьмы и герои древних легенд, где боль можно вырвать из тела, где на каждом шагу подстерегают чудеса, где история встречается с мифом, сказка — с реальностью, а тяжелая судьба людская — с волшебством, любое желание может обернуться западней и привести к горю, а то и к настоящей беде, страшной, кровавой и неотвратимой.

УДК 821.162.1
ББК 84(4Пол)

ISBN 978-5-17-145423-4

© Рак Р., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Часть первая 7
I. О песне-заклятии 7
II. О лунном танце 9
III. Об ивах и дожде 11
IV. Об огне, что не греет 13
V. О сердце в первый раз 15
VI. О пане добром и милосердном 17
VII. О змеях и колдовстве 20
VIII. О груше, цветах и ночном луге 22
IX. О мужицком желании 24
X. О сердце во второй раз 26
XI. О том, что не удивляет 31
XII. Об осени и ожидании 32
XIII. О негодных советах 34
XIV. Об изгнании боли 35
XV. О сердце в третий раз 37
XVI. О сборе ивняка 39
XVII. О тайне карпатского леса 42
XVIII. О лесе 47
XIX. О белой тьме 48
XX. Об одном колядовании 52
XXI. О пробуждении жизни 64
Конец ознакомительного фрагмента. 66

Радек Рак
Сказ о змеином сердце, или Второе слово о Якубе Шеле

Radek Rak
BAŚŃ O WĘŻOWYM SERCU
ALBO
WTÓRE SŁOWO O JAKÓBIE SZELI

ИНАЯ ФАНТАСТИКА

Публикуется с разрешения автора и при содействии Владимира Аренева и Сергея Легезы
Перевод с польского: Милана Ковалькова
В оформлении обложки использована иллюстрация Василия Половцева
Дизайн обложки: Василий Половцев

Copyright © 2019 by Radek Rak
Copyright © 2019 by Powergraph
© Милана Ковалькова, перевод, 2023
© Василий Половцев, иллюстрация, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *

Басе

Любовь есть и в камне.
Здесь ищет она земные глубины.
Экхарт

Все вещи – в труде:
не может человек пересказать всего.
Екклесиаст

Часть первая
Сердце

I. О песне-заклятии

Сказывают, что началось все вечером.

Вечером солнце садится.
Песня над речкою мчится.
Кто за той песней увьется,
Из лесу тот не вернется.

– А чья это песня, дедушка? – спрашивает Куба.

Старый Мышка шамкает беззубым ртом. Не то слова какие-то говорит, не то просто по-старчески бормочет. Телега, нагруженная до краев глиной, подскакивает на ухабах. Старый Мышка и Куба едут из Копалина, потому что там самая лучшая во всей округе глина. Дорога еще далека, а в дороге, как известно, и петь хорошо, и истории всякие рассказывать.

Лесом, над дальней горою
Песня несется весною.
Чтобы спасти свою душу,
Песню лесную не слушай.

Старик облизывает потрескавшиеся губы, глядит на Кубу. Глаза у него ясные, и не заметны в них вовсе прожитые семьдесят две зимы.

– Как это чья? – спрашивает он. – Чья еще может быть? Русалочья!

Куба на это только презрительно сморкается, сначала с правой ноздри, потом с левой – и обсмаркивает себе портки, потому что повозку подкидывает на очередном камне. Заметив это, Старый Мышка хрипло хохочет, и от этого смеха у него трясется индюшачий зоб под шеей.

– Русалочья, – повторяет он под нос, как бы сам себе.

Смеркается, а здесь, в буковом лесу, уже вовсю правит ночь. Даже птицы все уснули, и лишь запоздалый дрозд упрямо выводит одну и ту же трель. Дикая сирень сводит с ума своим ароматом. Вот такой этот лес: буки, сирень и темнота.

– Они выходят в Иванову ночь на поляну – здесь она, неподалеку. И поют, и пляшут – мужиков завлекают. Коли услышишь их зов, скорей заткни уши воском, чтоб не слышать и не слушать. И песнь во славу Господа спой или майскую ектению Богоматери. И тысячу раз повторяй снова и снова: «Господи Иисусе! Господи, помилуй! Помилуй мя грешного!» – до тех пор, пока не войдут в тебя эти слова и не станут частью тебя. Потому что, если заслушаешься русалочьей песней – пропадешь. А коли отправишься за русалками подглядывать, то сгинешь и телом, и душой. Они ж в одних сорочках танцуют, и как увидишь их – уже не найдешь себе места на земле меж людей.

– Старый вы, дедушка, а у вас все одно на уме, – усмехается Куба, но Старый Мышка ничего на это не отвечает. Возвращается только к своей песне:

Кто этой песней пленится,
В дебри лесные умчится,

Тот свою жизнь уничтожит,
Буйную голову сложит.

Деревья редеют, меж ветвей проглядывает синева ночи. Телега со скрипом катится по дороге вниз, к деревне. Солнце давно уже скрылось за горами, но свет все еще бьет, будто из-под земли, это песочная луна разливается над миром, золотит стрехи хат и крыши церквей.

Старый Мышка и Куба проезжают мимо оврага и качающихся над ним ив. Их двенадцать, и старик говорит, что ивы – это апостолы, а последнее дерево, увядшее и изъеденное червями, – Иуда Искариот. Но Старый Мышка разные вещи рассказывает, и не следует во всем ему верить.

И пока они еще не доехали до деревни, Куба поднимается в повозке. Он стоит и прислушивается, но из леса не доносится ни одной песни. Лишь сверчки стрекочут в траве.

II. О лунном танце

Сказывают, что Куба и Старый Мышка служили в Каменицах в корчме Рубина Кольмана шабесгоями.

– Оймеле, айнекляйнемитешмок! И что же это такое? – Жид тыкал комок глины в нос то молодому, то старому работнику. – И это должно быть глиной? И это глина, я вас спрашиваю! Вот что значит гоев за глиной послать. Грязи и коровьего дерьма привезут!

На это ни Куба, ни Старый Мышка ничего не ответили, а дед даже принялся сворачивать самокрутку. Они знали, что Рубин должен как следует отойойкаться, потому что это единственное развлечение в его жизни. Чаще всего он жаловался на своих шабесгоев.

Шабесгои делали в доме и корчме все то, чего иудею не позволял закон или просто было неохота, в шабат и не только. Куба и Мышка не жаловались, хотя ворчливый Рубин вечно чем-то был недоволен, рвал на себе бороду, извергал проклятья и поминал имя Господа всуе.

И все же Рубин был порядочным человеком, хотя и жидом. Впрочем, он и не мог быть другим. Имея старую, прикованную к постели жену, сына-раввина и дочь-мешугу, то есть сумасшедшую, нельзя быть плохим человеком. Возможно, поэтому Кольмана прозвали Колькопфом[1], даже особо этого не скрывая; все будто проверяли, может ли корчмарь по-настоящему рассердиться.

Работать на жида всяко лучше, чем на пана, потому что жид за работу платит, а по воскресеньям иногда ставит стопку водки. Но главное – жид не бьет. Пан же, по распоряжению Светлейшего Государя Кайзера из Вены, может за любую провинность назначить хаму двадцать и пять палок, а бабе и ребенку ничуть не меньше, только не палок, а березовых розог.

В тот вечер за окном разлилось белое сияние – луна взошла рано. В этом свете все выглядело даже четче, чем днем. Днем очертания смазываются и расплываются, а цвета перетекают один в другой, так что предметы порой будто спрятаны за пыльной занавеской или пеленой дыма. А лунной ночью все видится резким, будто выкроенным из бумаги. Только цветов меньше. Дом, корчма, склоненный колодезный журавль во дворе – черные. Свежие иголки на лиственницах у двора – пушистые и белые, более похожие на снег, чем на хвою. Такой мнимый еврейский день.

Куба уж собирается ложиться спать, но видит ее. Как обычно, она забирается на покатую крышу трактира, подобно ласке или ночному привидению. Высоко-высоко, до самого резного конька по обе стороны крыши.

Она немного отдыхает.

А потом начинает танцевать.

Она танцует с поднятыми руками, ступая мелким, дрожащим цыганским шагом. Откидывает голову то влево, то вправо, полусонно, полустрастно. Темные волосы следуют волной за ее движением, словно они наделены собственной, змеиной жизнью. Под луной ее четко видно, и кажется, будто она вырезана из черного эбонита. Куба знает, что такое эбонит, – у Рубина Кольмана есть шкатулка из эбонита, а у ясновельможного пана в усадьбе, в конторе – даже эбонитовая мебель. И сейчас, ночью, Кольманова дочка Хана вся черна, но прекрасна.

Днем она уже не будет столь красива, потому что день покажет угри на ее подростковом лице и слишком крупные зубы, кривые и торчащие, как у лупоглазой кобылы. Потому что на самом деле дочь Рубина тощая и страшная.

Но сейчас продолжается ночь, а у ночи свои законы.

Куба некоторое время наблюдает за девушкой, а потом выскальзывает из халупы. Он украдкой пробегает через двор и взбирается на курятник, а с него на карниз, проходящий

[1] Кочан капусты. *Kohl* – нем. капуста, *kopf* – нем. голова. (*Здесь и далее примечания переводчика.*)

вдоль всего верхнего этажа корчмы: отсюда можно без труда залезть на крытую черепицей крышу. Все это он делает тихо, осторожно, без единого звука, чтобы не спугнуть девушку и не всполошить всю семью Кольманов, готовых, как водится у жидов, наделать рейваха[2]. Ибо Старый Мышка не раз и не два говорил, что людей, танцующих под луной, будить нельзя – душа их может испугаться и выскочить из тела. Правда, говорят, что у жидов нет души, но Куба все равно не хочет резко будить Хану, ведь она может всполошиться и упасть. Ибо днем, при свете солнца, девушка боится подняться даже на пятую перекладину лестницы, не то что на крышу.

Хана танцует на коньке и разбрасывает вокруг себя мелкие бумажки, клочки и обрывки. Они напоминают крупные снежные хлопья. На каждом листочке видна надпись, чуть длиннее или чуть короче, иногда это лишь один или два знака. Все написано по-еврейски, задом наперед, приземистыми, усталыми буквами, будто кем-то растоптанными и раздавленными. Возможно, это молитвы. Или же заклинания. А может, и то и другое, ибо сказано в Библии, что евреи с давних времен, от самого Авраама стремились навязать Богу разные вещи и подчинить его своей воле. И если кому и известны заклинания, коим подвластен сам Господь Бог, то только иудеям, и никому другому.

Хана танцует, а Куба приближается к ней по крыше, согнувшись, словно обезьяна из страны негров. Он нежно обхватывает вялые и холодные запястья девушки. Несколько мгновений – и они уже внизу. Жидовочка идет за Кубой покорно, как щенок, хотя по-прежнему пребывает в дивных краях своего воображения; если б он отпустил ее, она продолжила бы свой танец. Хана прижимается к Кубе всем телом, и странное чувство возникает в его сердце.

Сегодня вторник, а по вторникам в кабак никто не ходит, потому Рубин Кольман и его дочери ложатся спать рано. Парень колотит в кухонную дверь корчмы. Щелкает засов, и старый жид вылезает наружу, протирая склеенные сном веки.

– Айнеклайнемитешмок! Хана!

– Она снова танцевала на крыше. Присматривайте лучше за ней, когда светит луна.

– Зое пришлось оставить дверь на ауф. Спасибо, Куба. Хороший ты парень.

– Спокойной ночи, пан Кольман.

– И тебе хороших снов, Куба.

[2] Разг. слово, пришедшее в польский из идиша, одначает «шум, суматоха» (*прим. ред.*).

III. Об ивах и дожде

Сказывают, что во все макнули свои пальцы русалки.

Куба все время выпытывал о них Старого Мышку, ведь паренек просто обожал сказки. Старик же только посмеивался, и трудно было выудить из него что-либо новое, что-либо сверх того, о чем он уже говорил: что русалки танцуют на лесной поляне от Иванова дня до святого Петропавла, а порой и поют, и главное – они голые. Много о чем уже сказывал старик: и о правившем в стародавние времена короле Бодзосе, которого повесили на горе под названием Мага, и о разбойнике Запале, и о колдуне Нелюдиме, и о Змеином Короле, и о злых ведьмах, докучающих людям, и о девушке с картофельного поля, что живет в поразившей клубни плесени, и об ивовом черте Залипачке, что разбил луну, и много еще о чем. Старый Мышка знал великое множество историй. Только почему-то о русалках больше рассказывать не хотел.

Однажды Куба шел к усадьбе в Седлисках на первый покос. Ну, а что остается делать крестьянину? Надо идти, если пан велит. Можно не иметь земли, можно быть шабесгоем – хам все равно остается собственностью помещика, как стадо или фруктовые деревья. Кубе идти совсем не хотелось, но он шел.

В долине было душно и парило, а в оврагах висел туман, белый и липкий, как сок луговых одуванчиков. Лень поразила даже мух и жуков, они вяло жужжали и легко позволяли прибить себя рукой. Был полдень, но зной стоял с самого утра, и Куба весь вспотел, пока добрался до ив-апостолов. До Седлиск оставалось меньше австрийской мили, и можно было не спешить. К вечерней косьбе он все равно успеет, ведь луг косят либо с утра, либо под вечер. В узелке приятно булькала черешневая памула[3] в глиняном кувшине; обед Кубе приходилось брать с собой, потому что сам помещик был сыт и никого на работе не кормил. Хлопец посмотрел вперед – никого, оглянулся назад – никого. Узелок прилипал к спине. Куба нырнул в тенистые заросли под ивами и стал жадно уплетать все, что у него было.

Кольманова дочка приготовила лучшую на свете памулу, а к ней положила и пять белых булок, невероятно вкусных, хотя и без закваски. За работой крестьянину надо есть, и только вельможный пан помещик считал иначе.

И не то из-за набитого брюха, не то из-за ленивого зноя, или же из-за тенистой зелени ив, а может, из-за зловредных духов, в этих ивах обитающих, – а скорее всего, из-за всего этого разом – сон накрыл Кубу вороньим крылом.

Его разбудил гром, низкий, такой, от которого дрожит земля. Паренек растерянно огляделся по сторонам. Небо уже затянуло свинцовой пеленой, а вдали по краям туч лилось зловещее зеленоватое сияние. Ветер с силой трепал ветки, завывал и рвал листья. Белые жилы молний бились о горизонт. Гроза приближалась с севера, и это было плохо, потому что грозы с равнин всегда хуже, чем с гор.

Куба уже собрался сорваться и бежать назад к корчме Кольмана, когда в ивовых кронах заметил девку.

Она лежала на животе на наклонной ветке, подпирала подбородок одной рукой и нагло грызла последнюю булку Кубы. Все в девушке было каким-то водянистым, бесцветным до ужаса. И волосы, и глаза, и свободная, просвечивающая нижняя юбка. Она лениво помахивала лодыжками, глядела на Кубу не то с интересом, не то с насмешкой и совершенно не переживала из-за надвигающейся грозы.

– Ты кто? – спросил паренек, потому что не мог вспомнить такую девушку ни в одной деревне.

Она ничего не ответила, лишь продолжала обгрызать булку со всех сторон, как яблоко.

---

[3] Подкарпатский фруктовый суп.

А потом начался дождь. В первые мгновенья капало не сильнее, чем от церковного кропила, а затем с неба хлынули обильные свинцовые потоки. Якуб под ивой весь сжался, втянул голову в плечи, а девушка, хихикая, спрыгнула с дерева и убежала в ливень. Волосы и сорочка липли к ее телу, и у Кубы пересохло в горле, как от слишком крепкого чая. Он стоял и мок, мок и мок. Ивы не давали почти никакой защиты. Промокнув донельзя, до последней нитки, Куба медленно поплелся к корчме.

К тому времени как он добрался, дождь заметно поредел, а потом и вовсе прекратился. Пахло тишиной и мокрой землей.

IV. Об огне, что не греет

Сказывают, что такой девушки не было и быть не могло, но в это Куба никогда не верил.

На следующий день он кое-как переделал всю работу, что была у Кольмана, и ранним вечером сбежал из корчмы к ивам-апостолам. По дороге в церковном саду он нарвал для девицы красной смородины, крупной и сладкой от солнца.

Девушка была на прежнем месте. Как и вчера, она лежала на ивовой ветке на животе. Она лениво играла с цветком мальвы, крутила его между пальцами, вставляла в волосы, вынимала, грызла лепестки, вертела в руках. Куба медленно приблизился к ней, как подходят к испуганной лошади, но девушка вовсе не собиралась пугаться. Она лишь взглянула на паренька с каким-то звериным любопытством. Как безумная.

– Как тебя зовут? – спросил он, не надеясь, что она ему ответит.

Девушка равнодушно смяла цветок в руках и бросила на землю.

– Мальва, – сказала она. Голос у нее был низкий и с хрипотцой, красивый. Куба не знал, был ли это ответ на его вопрос, но на другой все равно не приходилось рассчитывать.

– А я Куба. Я смородину принес, – произнес он и протянул ей корзинку. Она жадно схватила большую гроздь и засунула целиком в рот. А потом еще одну, и еще. Хвостики она выплевывала на землю, смятые и пережеванные.

Куба уселся рядом на корявый корень ивы и стал есть смородину привычно, как человек, веточку за веточкой. Он вновь и вновь поглядывал на Мальву, краснея оттого, что на девушке опять была одна сорочка – тело вроде бы и покрыто, но все видно. Паренек, хоть и уродом не был, но с девчонками был робок, из-за чего те не раз хихикали и посмеивались над ним. Теперь же он оказался так близко к Мальве, что мог вдыхать свежий запах девичьего пота.

– Иди ко мне, – набрался он наконец смелости, но девушка только протянула к нему ладонь; под ногти забилась грязь.

– Дай еще.

Он и дал.

– Спустишься вниз?

Мальва хрипло рассмеялась, спрыгнула с дерева как кошка и убежала куда-то в луга. Куба кинулся следом, но девушки и след простыл. Она словно растворилась в васильках и маках, в золотистом свете вечера.

Ночью паренек долго ворочался с боку на бок. Сон приходил и уходил, играл с Кубой, бросал его, как лодку на волнах озера. Парня пробирал холод, и он весь дрожал, хотя был июнь, и можно было бы спать даже голышом. Он накрылся по уши одеялом, набитым ржаной сечкой, накинул сверху два покрывала, и только тогда немного согрелся.

Однако лучше всего согревали воспоминания о Мальве. Куба придвинулся к стене, словно освобождая для нее место на сеннике, и представил себе, будто девушка лежит рядом. Его плоть стала твердой и жесткой внизу, но он боялся притронуться к ней рукой – Старый Мышка спал чутко и всегда ловил парня за этим занятием. Но Мальва так и мелькала у него перед глазами, отчего все тело кидало в жар. Куба пытался думать о самой уродливой бабе, которую знал, – о старой Кольманихе, бесформенной и бледной, как тесто на вареники. Это слабо помогало.

Утром Куба проснулся сам не свой. Руки и ноги ослабли, словно была это не плоть из мяса и костей, а соломенные метлы. В груди что-то мешало дышать, и он хрипел, как старый дед.

– Иди-ка ты лучше скоси этот луг, – посоветовал ему Старый Мышка. – Тебе все равно не отвертеться. Не пойдешь – помещик рассердится и велит намять тебе холку. Солнышко тебя по дороге согреет и хворь прогонит, а то что-то тебя прихватило.

– Мне плевать на помещика, – буркнул Куба, но пошел.

Вскоре он понял, что с косьбой сегодня вечером опять ничего не выйдет. Солнце не прогоняло слабость из членов, а только раздражало, и озноб никуда не уходил. Парню казалось, будто в груди у него кусок льда. Шел по тени – мерз. Шел по солнцу – голова раскалывалась. Лишь один огонек в нем горел, но не согревал, мучил жаром. Имя этому огню было Мальва.

До панского луга он не дошел и в этот раз. Сразу за ивами-апостолами свернул в дикие заросли. Мальва не давала ему покоя. Он снял штаны и внимательно осмотрел свой член. Большой, твердый и красивый.

Воздух гудел от сверчков, или, может, это у Кубы гудело в голове. Может, это привиделось ему, ведь в полуденный час что только ни померещится среди полей. Может, ему показалось, что это не он сам обхватил себя рукой, а Мальва; что девушка стоит за его спиной и обнимает его, а Куба ощущает ее молодое и прекрасное тело, ее грудь, живот, все. Казалось, девушка почти обжигает его, потому что у женщин кожа горячее, чем у мужчин. Словно их обоих охватывает жар. Так. И дыхание Мальвы на затылке, как дыхание согретой солнцем земли, ведь Мальва именно так пахнет – немного потом и немного землей. И внезапно весь мир сосредотачивается в этой маленькой точке на краю плоти: и лихорадка, и солнце, и луг, гудящий насекомыми, – все, что существует, резко поднимается и взрывается волной плотного, пронзительного наслаждения.

Может, Кубе привиделось, – ведь фиолетовые блики все время плясали у него перед глазами – что Мальва облизала пальцы от его росы и исчезла среди трав, словно ее и не было.

Может, ему все это померещилось, а может, вовсе нет.

V. О сердце в первый раз

Сказывают, что из всего этого и так ничего бы не вышло. Ибо такого рода любовь с самого своего зачатия уродлива и порочна, и порождает она лишь тоску и муки. Это очевидно всем, кроме самих влюбленных.

Добравшись наконец до корчмы, Куба понял, что дела его плохи. Затоптанный двор плыл у него перед глазами, двоился и кружился, словно под действием дурных чар. Затем возникла черная дыра, из которой на мгновение вынырнуло озабоченное лицо Старого Мышки.

Где-то в стороне Рубин Кольман кудахтал что-то о шабате, который вот-вот, айнеклайнемитешмок, начнется. Это звучало даже смешно, но Куба не мог смеяться – казалось, что от смеха отвалится макушка. В глазах вновь потемнело, хотя, наверное, это просто наступила ночь. Куба очень хотел заснуть, но почему-то не мог. Сон бродил вокруг да около, как недоверчивый пес, и боялся подойти ближе. И парень плыл по волнам через море тьмы, и в этой черноте то появлялся Мышка, сморщенный, как залежалое яблоко, то исчезал.

– Да спи же ты, – буркнул старик. – Тебе хорошо, ты завтра вылежишься, а меня с рассвета ждет работа. Вот тебе вода и тряпица, смени ночью примочку. Эх, что-то ты раскашлялся, как чахоточник. Я пойду спать в сарай, а то с тобой не уснуть.

– Айнекляйнемитешмок, – прохрипел Куба и глупо улыбнулся.

Чья-то рука коснулась лица парня и провела от основания уха до шеи. Она была нежной и гладкой и принадлежала тому, кто не работает много, – явно не Старому Мышке. Пахло анисом и гвоздикой.

Она сама скользнула под его одеяло. Пальцы своих ног она сплела с пальцами Кубы; они были ужасно холодными, как будто она долго шла босиком. Щекотно, но приятно. Она прильнула всем телом к парнишке, и теплая, и немного прохладная, гладкая, как муслин, и, кажется, совсем голая. Куба побледнел и почувствовал, как уходит жар. Он уснул, уткнувшись лицом в копну черных душистых волос, рассыпанных по подушке.

Утром ему стало немного лучше, хотя он мало что помнил о прошлой ночи. Было странно, что сенник пахнет пряностями, как еврейское кадило, которым Кольман окуривает в шабат все углы. Затем он нашел на подушке волос, толстый, темный и вьющийся. Он долго сидел на кровати и вертел его в пальцах, а внутри творились странные вещи.

Он все еще чувствовал слабость, но болезнь покинула его грудь, он даже не кашлял так сильно. Возможно, ему помог жирный куриный бульон, который дала ему выпить Хана. Старый Кольман же дал парню самую легкую работу – окроплять водой глиняный пол в корчме и протирать столы; корчмарь знал, что о батраках нужно заботиться, пусть даже они и гои.

В ту ночь луна снова ярко светила, и в полночь Хана вновь вышла на крышу. Когда Куба с трудом взобрался наверх, чтобы снять ее, она вполне осознанно посмотрела на него и странно улыбнулась.

– Упадешь, Хана.

– Не упаду.

– Пойдем вниз.

– Здесь хорошо.

И Хана спустила одну лямку ночной рубашки. А потом вторую. Потом она расстегнула несколько верхних пуговиц и так и встала перед Кубой, обнаженная до пояса. У нее были красивые плечи и некрасивая грудь, треугольная, со слишком крупными и слишком темными сосками. Куба уже собирался сказать, что нет, что не хочет, что нельзя, но законы ночи отличаются от законов дня. И он ничего не сказал, так как знал, что да, что он хочет, и знал, что можно.

Но девушка лишь засунула руку между грудей и извлекла оттуда сердце, маленькое, трепещущее и поросшее перьями.

– Это тебе, – сказала она.

И Куба взял сердце, но ничего не ответил и только стоял на крыше с не слишком умным выражением лица. Он меньше всего желал от Ханы сердца. Он жаждал ее груди, ее плеч, жаждал ее тепла между бедер. Но сердца – нет.

Они сели на край крыши, свесив ноги, совсем рядом, но все же не слишком близко. На небе сияла луна, равнодушная и мертвая. Девушка и парень сидели спиной к ней, чтобы не видеть лиц друг друга. Они ни о чем не говорили, не зная, о чем вести разговор; вероятно, им просто нечего было сказать. Куба крутил в руках сердце Ханы, не понимая, что с ним делать. И хотя перья были вымазаны в крови и слизи, сердце было приятно на ощупь и мягко согревало. Парень удивился, насколько оно маленькое. Целиком помещалось в его сложенных руках.

Сверчки выводили в зарослях всего одну ноту: кри-кри, и это был единственный звук во всем мире. Молчание, повисшее между Кубой и Ханой, дрожало, как воздух в жаркий день. И девушка уже знала, что отдала сердце зря. Но было слишком поздно, потому что сердце, однажды подаренное, нельзя просто так вернуть назад.

Когда стрекот сверчков стал невыносимым, Хана с ловкостью кошки или куницы спрыгнула с крыши, хлопнула кухонной дверью и исчезла в недрах дома. Куба осторожно спустился и побрел к себе. Птичье сердце он спрятал под сенником, обернув его к тому же одеялом, потому что оно стучало, как одержимое, и не давало ему спать.

VI. О пане добром и милосердном

Сказывают, что их благородие ясновельможный пан помещик въехали в тот день в деревню в белой коляске, запряженной шестью сивыми лошадьми. Скорее всего, это неправда, потому что вельможному пану для посещения корчмы в Каменицах нет надобности закладывать парадный экипаж. Однако так говорят.

Вельможный пан расположились в самом удобном из кресел старого Кольмана в тени большой сливы, что растет возле корчмы со стороны дороги. Они подкручивали ус, кушали ругелахи[4], которые подносил сгибающийся в поклонах жид, и потягивали морс, разбавленный пейсаховкой[5], потому что пиво из нового хмеля еще не было готово. За их ясновельможной спиной выстроились в ряд управляющий, эконом и прочие дворовые прихвостни. Вокруг уже собралась большая толпа. Крестьян не пришлось никому специально собирать – никто не объясняет скоту, где находится пастбище и когда наступает время дойки. Все сами покорно пришли. Как мотыльки слетаются на ночной свет, так и их привлекло появление пана – такого сиятельного, неотразимого, в светлых штанах и безупречно приталенном дымчатом сюртуке, так похожего на ангела или святого с церковных образов, что оставалось только пасть на колени.

Они и упали. Все, даже старый Кольман, жид.

Ясновельможный пан неспешно подкрутили ус и окинули взглядом все эти отвратительные, неотесанные морды. Хамы тупо таращились – так тупо, что тошно было. Однако вельможный пан преодолели отвращение и даже позволили целовать свой перстень, прежде всего хорошеньким девкам. Ведь был пан и добр, и милосерден.

Помещик постучали хлыстом по голенищу сапога, плотно облегающему икру, и кивнули писарю. Тот поклонился и принялся зачитывать все недоимки и задолженности по барщине. Кто-то не отработал два дня пешей барщины, а кто-то не явился на день барщины конной – то есть со своей лошадью и плугом. Обоим им вельможный пан задолженность простили, ведь были они и добры, и милосердны.

Мацей Соха, однако, задолжал два дня добровольной барщины. Известно, что помимо предписанной законом работы на господском поле, на отдельных крестьян дополнительно возлагалась *добровольная* барщина; количество ее дней определял сам помещик по своему усмотрению и мудрости, а иногда принимал ее и натурой: зерном, яблоками или девками. И получил Соха от управляющего пять палок по голой спине, а его баба – три; затем они поднялись и поцеловали перстень пана, и клятвенно пообещав явиться на работу завтра на рассвете. Безземельный крестьянин Петр Неверовский не отбыл трех дней пешей барщины. И отбыть он их никак не мог, потому что умер на день святого Иосифа. За покойного Петра двенадцать палок было назначено его старшему сыну Томашу. Сальча Неверовская тоже получила пять ударов березовой розгой, но лишь потому, что вельможному пану хотелось получше рассмотреть ее раздетой выше пояса. Судя по одобрительному кивку, Сальча помещику пришлась по вкусу. Напоследок и Томаш, и Сальча поблагодарили вельможного пана низким поклоном до самой земли, как это делают русины в церкви.

И так все и продолжалось: кому-то задолженность простили, кому-то оставили. Ведь был пан и добр, и милосерден.

Пришел черед держать ответ и безземельному Кубе. Когда писарь назвал его фамилию, паренек не сразу сообразил, что о нем идет речь. Не пользовался он фамилией с тех пор, как отец прогнал его за то, что он однажды неловко обошелся с керосином и сжег хату и полгумна.

---

[4] Традиционное еврейское печенье в виде рулетиков.

[5] Еврейская водка из изюма.

Все называли его то Кубой из корчмы, то Кубой-шабашником, то Тощим Кубой. Он и сам себя так называл. Старому Мышке пришлось подтолкнуть его в бок, когда писарь снова крикнул:

– Якуб Шеля. Должен два дня косьбы.

Сказывают, что, если бы в тот день помещик обошлись с Кубой иначе, многих обид можно было бы избежать и все закончилось бы по-другому. Порой, оглядываясь в прошлое, можно заметить, что все важное и значительное начинается с пустяка. Из сущей ерунды возникает любовь: и та, что приносит счастье, и та, что причиняет боль, и та, что несет и то, и другое. Из-за пустячного повода вспыхивают войны, в которых гибнет множество людей, а те, что выжили, живут опустошенные, и из-за этой глубокой внутренней пустоты их порой трудно назвать людьми.

Потому и кажется, что нет под солнцем важных вещей, а есть лишь пустяки. Или наоборот. Понять это способен лишь разум Божий, но не человеческий, аминь.

Сказывают, что в тот день Якуб вышел из толпы хамов с гордо поднятой головой, хотя на самом деле ноги у Кубы были словно из соломы, и он едва не наделал в штаны. Управляющий Мыхайло, мужик сухой и жилистый, схватил Кубу за шиворот и поставил перед вельможным паном.

Помещик лениво взглянул на хлопца. Хам как хам, все они одинаковы. Ясновельможному уже изрядно наскучили эти тупые рожи, пану захотелось повеселиться.

– Двадцать пять, – бросил он равнодушно.

– Ваше благородие, два дня косьбы… – неуверенно заметил писарь.

Шляхтич смерил его взглядом.

– Будешь меня учить, дармоед? Двадцать пять. Кайзер разрешает, закон на мой стороне. Ну же.

Потом говорили, что Якуб храбро выстоял до конца порки и даже глазом не моргнул. Управляющий бил его и бил, а тот только смотрел на помещика, и взгляд у него был злой, очень злой. А когда ему в конце подсунули панский перстень для целования, Якуб на него плюнул, за что получил еще десяток палок, хотя по старым законам императора Иосифа больше двадцати пяти назначать было нельзя. Другие же утверждали, что Куба после девятнадцатого удара упал на землю без чувств. Помещика это грубое неповиновение привело в ярость, и пареньку отмерили еще десять палок, хотя кайзеровский закон гласит: двадцать пять – и баста.

Как это было на самом деле, сам хлопец не помнил, потому что после тридцать пятого удара он был уже не Кубой и не Якубом, а самой болью. Боль стучала в его теле и заливала глаза пунцовым мраком. Посреди этого мрака то и дело вспыхивали какие-то образы, и хлопцу чудилась то тут, то там проходящая мимо Мальва. Она появлялась то в толпе крестьян, то среди дворовых, то за спиной шляхтича. И никто ее не видел, один лишь Куба.

– Ну, а теперь музыка. – Помещик довольно потер ладони. – Петь, хамы, танцевать и веселиться! Это корчма, а не кладбище!

Оказалось, однако, что нет гусляра Йонтека Гацы – он задолжал не то пешую, не то конную барщину, и управляющий палкой перебил ему два пальца. Вперед вышли басист и барабанщик, но из одного баса и барабана настоящей музыки не выйдет. Потом кто-то шепнул, что Рубин Кольман держит в сундуке кларнет, и помещик погнал старого жида играть. Кларнет был древний, засиженный мухами и страшно хрипел, но вельможный пан уже хмурились от нетерпения и нервно трясли ногой, потому крестьяне принялись изо всех сил петь, танцевать и радоваться.

Куба очнулся под забором, когда ночь уже заволокла небо. Кольман по-прежнему мучил кларнет, а крестьяне пели все, что им только приходило в голову. Их благородие танцевали в самой гуще толпы и кружили то одну девку, то другую. И им ничуть не мешало, что жид играет еврейские мелодии, а крестьяне поют свои народные песни.

На миг померещилось хлопцу, что пан танцует с Мальвой, что она ведет его, кружит в танце и смеется, как дьяволица. Но стоило ему моргнуть, и девушка исчезла. А вельможный пан не танцевали, потому как они изволили быть совершенно пьяны, облеваны по самые колени и с трудом держались на ногах, а управляющий с писарем уже вели его к коляске.

VII. О змеях и колдовстве

Сказывают, что в мире нет более благодарного существа, чем змеи. Правда, Куба, отправляясь через несколько дней на панское поле отрабатывать долг по косьбе, ничего еще не слышал о змеиной благодарности. Именно тогда возле источника он встретил змею.

Источников в предгорьях великое множество. В каждой долине, даже самой маленькой, есть свой ручей, что вбирает в себя струи из множества родников, журчащих в лесных оврагах. Некоторые из этих источников смертельно опасны – их называют мофетами. Возле них нельзя долго стоять и тем более засыпать – можно лечь и не проснуться; воздух у такого родника тяжелый, им нельзя дышать. Это известно людям и некоторым диким животным, но овцам – уже нет. Овцы глупы и нуждаются в опеке, они могут заблудиться, подобраться к мофете и задохнуться.

Молодая змейка, что грелась на камне, видимо, тоже этого не знала. Мофета била из-под корней большой липы, как юная дева, осыпанная душистыми цветами. В начале лета все липы прекрасны, но эта – особенно. Под тяжестью ее буйного цвета прогибаются ветки. На змейку Куба наткнулся, когда устроил себе перерыв во время косьбы. Усевшись на самую нижнюю ветку дерева, стал уплетать белый хлеб с тмином, хреном и шалфеем. Солнце играло на лугу, июльский ветерок охлаждал охваченное жаром тело и снимал боль с желтых синяков, оставшихся после панских палок.

Змейка лежала под солнцем, сверкая словно обмазанной маслом шкуркой. Желтые пятнышки у шеи напоминали капли сока ласточкиной травы. Паренек потрогал змею палкой, уверенный, что она уже мертва, но рептилия вяло и с большим усилием свернулась, а бока у нее заходили, как у загнанной лошади. Йонтек Гаца, который в тот день тоже косил луг, собирался добить тварь камнем, но Куба не позволил. Он подхватил змейку двумя палками и отнес в тень, подальше от мофеты. Затем он облил плоскую мордочку водой из жестяной кружки. При этом он не удержался и погладил змеиное тельце; оно было теплым и гладким, и очень приятным на ощупь.

Когда бедняжка пришла в себя, Куба дал ей хлебный шарик, а потом еще несколько. Из глиняной крынки он налил в кружку простокваши. Змейка немного попила, прошипела что-то на своем языке и уползла в высокую траву.

Куба быстро забыл о случившемся. Его голову и сердце занимали другие заботы, далекие от судьбы змеи, спасенной из мофеты. У парня по-прежнему перед глазами стояла Мальва, танцующая с помещиком. Ревность порой бывает страшнее гигантских змей из южных стран – она сжимает сердце в удушающей мертвой хватке и травит мысли смертельным ядом, и те начинают биться и скакать в голове. Да, да, такова ревность.

Возвращаясь с луга, Якуб не мог не заглянуть под ивы-апостолы, но Мальвы там не нашел.

Ждать было нечего. Паренек колдовать не умел, потому что для этого надо быть или цыганом, или жидом. Не умел, но попробовать же мог.

Ночь нависла над миром, бездонная и черная, как море. В звенящей сверчками темноте парень собирал растущую перед корчмой мальву. Он рвал цветы полными горстями, потому что их было очень много. Он уже полностью набил карманы, но снял еще рубашку и сделал из нее узел.

Набрав достаточно мальвы, Куба забрался на крышу, на самый верх, и стал подбрасывать цветы в воздух, но не слишком высоко, чтобы никто не заметил. Сначала он чувствовал себя неуверенно и немного глупо, но быстро понял, что видит его только ночь. Тогда его движения приобрели плавность, а ноги понесли сами собой. Странная мелодия застучала в жилах Кубы,

словно водка, а темнота втянула его в безумный, дикий чардаш. Ему казалось, что он падает, а вокруг летали мальвы, как мотыльки.

Куба не танцевал. Куба сам был танцем.

Куба не колдовал, он же не был ни жидом, ни цыганом. Куба сам стал колдовством.

VIII. О груше, цветах и ночном луге

Сказывают, что Мальва всегда работала у Кольмана, хотя в действительности это Куба приманил ее чарами. Потому, когда Мальва оказалась в трактире старого жида, никто не мог вспомнить, откуда она там взялась. Любой, кого спросили бы, вероятно, ответил бы, что она работала там всегда. Именно так действуют заклинания.

Дни сменяются ночами, а ночи – днями. Мальва поет за работой, и время течет в такт ее песням. Она поет, когда шелушит фасоль и варит пиво. Только при выпечке хлеба она не поет, потому что хлебу нельзя мешать.

Песни Мальвы странные. Мелодии вроде знакомые, но они словно мерцают и колышутся на ветру. Слова теряют смысл и растворяются в мелодии, как капля молока в воде. Кажется, будто Мальва поет на чужом языке. Это слова, что вмещают нечто большее, помимо самих слов.

Кажется, никто, кроме Кубы, не обращает на это внимания, а ведь сразу видно, что Мальва не из этого мира. Ее голос похож на пение полевых духов. Она движется так, будто ветер качает колосья. Куба это видит и не может оторвать глаз от зачарованной девушки. Возможно, еще Хана это замечает, потому сторонится и батрака, и Мальвы.

Мальва тоже живет в гойхаузе, хотя и в другой комнате. Говорят, старая Кольманиха когда-то страшно из-за этого ворчала: ну как же так, девка под одной крышей с двумя мужиками. Рубину это тоже было не по нраву, но он ничего не говорил, потому что гои – это всего лишь гои, пусть не совсем животные, но у них, как и у животных, нет души.

В деревне же ничего не говорили, и это было странно, потому что в деревне болтают обо всем и обо всех. Обо всем и обо всех, только не о Мальве. И даже ни один подвыпивший мужик ни разу не пытался ее лапать. Парни будто ее вообще не замечали, а если и замечали, то через мгновение забывали. Мальва, видать, умела копаться в головах людей и путать им мысли.

Только один раз какой-то паренек из соседнего села пытался подобраться к ней, когда она несла воду из колодца, но, едва дотронувшись до нее, застыл, одеревенел с головы до ног. Он превратился в низкую шершавую грушу, что растет под забором и дает кислые плоды, которые никто не хочет есть. Парня никто не искал и даже не помнил о его существовании. Куба еще вспоминал, будто сквозь туман, как они некогда вместе ходили за хворостом в лес, но имя парня словно улетучилось из памяти.

Однажды Куба собрался, пересилил себя и рассказал Старому Мышке о парне, заколдованном в грушу. Мышка умел ходить по темным тропам, и говорили даже, будто он может заклинать молнии. Мудрому старцу были доступны многие скрытые вещи.

– Что ты, Куба, сдурел? – сказал старик в ответ. – Эта груша стоит здесь уже больше десяти лет. Самосейка. Рубин Кольман как-то ел груши под забором и плевался косточками. Так она и выросла.

И вскоре Куба и сам поверил, что никакого заколдованного парня и не было. Когда же прошла Травяная Богородица[6] и ночи стали холодными, Рубин срубил грушу на дрова. Так и закончилась история о парне, превращенном в дерево.

Вечера этим летом глубоки, как колодцы; они растекаются по небу пшеничной луной и тянутся в бесконечность. Работы в трактире хватает, но Куба все равно возвращается в гойхауз до наступления сумерек. Иногда Мальва уже ждет его там, иногда он ждет ее – по-разному.

Куба любит смотреть, как девушка раздевается ко сну; ведь Мальва спит голой. А она часто соблазняет его, делая это слишком медленно. Ее движения становятся плавными, полными завораживающей торжественности, как у русского священника в церкви или как у змеи.

[6] 15 августа, Успение Пресвятой Богородицы.

А иногда Мальва раздевается быстро, раз-два, и она уже обнажена. И эта ее торопливость, эта небрежность движений бывают куда прекраснее заученной медлительности.

Куба может смотреть, но трогать ему не дозволено. Разве что он насобирает цветов, тех садовых и тех, что растут в поле. Именно этими цветами он познает все закутки ее тела. Потому один раз она кажется ему прохладной, как лепестки маков, а другой раз сухой и тонкой, как василек. Цветы оставляют на ее коже мурашки и красные раздраженные полосы. Иногда, но редко, девушка позволяет класть себе на соски распустившиеся мальвы. Куба потом собирает эти цветы и теребит губами, пока Старый Мышка не видит. Воображает, будто целует грудь Мальвы. Или даже больше.

Девушка не позволяет себя трогать, но сама часто трогает Кубу. Иногда она велит ему полностью раздеться и встать перед ней с закрытыми глазами, а затем делает с ним то, после чего парень едва может вернуться в свою комнату. Тогда от него пахнет потом и молоком, перед глазами у него мелькают пурпурные и желтые бабочки, а пол зарастает травами и полевыми цветами, как будто в гойхауз проник сам священный луг. Тогда в сенях то играют сверчки, то журчит невидимый ручей, а под потолком гукает серая сова. Порой видно даже, как она бесшумно перелетает с балки на балку.

Однако это происходит только поздно ночью, когда Старый Мышка спит, и никто, кроме Кубы, ничего не видит.

IX. О мужицком желании

Сказывают, что чем больше мужик трудится, тем сильнее ему хочется. Особенно когда он работает в поле, под солнцем, распаляющим кровь.

Наступил месяц август, выцветший добела. Каждый день жатвы дышал жаром, словно вынутый прямо из печи. Небо окрасилось матовым васильковым цветом. Но с холмов дул прохладный ветерок, и работалось хорошо, даже на панском поле, даже в дни добровольной барщины. У гусляра Йонтека Гаца уже зажили отбитые управляющим пальцы, и он мог снова поигрывать во время работы. А с музыкой, как известно, дело идет быстрее. Но лучше всего было рвать яблоки в церковном саду: во-первых, собирают яблоки вечером, когда они наливаются солнцем после целого дня и потому долго не портятся, а во-вторых, ксёндз – душевный человек и всегда угощает яблочным вином. Вино это легкое, как пух одуванчика, и сам не замечаешь, как оно ударяет в голову. Мальва и Куба возвращались из сада уже ночью, липкие от пота, вина и сока, пьяные больше, чем хотели это признать. Славные это были ночи. Нет ничего вкуснее пота, вина и сока, сцелованных с кожи любимого человека.

Порой Мальва и Куба вместе выходили ночью на крышу. Черепица отдавала дневное тепло, пахло старой древесиной, почти как в церкви. Их ласки наблюдали ночь и звезды, а иногда и Хана. Паренек знал это, хотя ему так и не удалось застукать дочку корчмаря за подглядыванием. То, что она знает о Кубе и Мальве, было понятно по тому, что она перестала по ночам танцевать на крыше. Кубу это не смущало, только иногда посреди ночи он слышал под сенником слабо стучащее сердце Ханы. И хотя билось оно негромко и не докучало, в парне оно все же вызывало злость и этим мешало спать. Однако выбросить его Куба не решался, потому что это все-таки сердце.

Потому, когда парень почувствовал, что Хана наблюдает за ними, он ласково погладил Мальву. Девушка тоже была преисполнена желанием, а потому позволяла прикасаться к себе и целовать, забираясь даже в этот чудесный уголок между бедрами, пахнущий оливковым маслом и весенней землей. При этом она иногда молчала, а иногда судорожно вздыхала или тихо стонала – и казалось, что это птенец козодоя кричит посреди ночи.

Не имело значения, смотрела Хана или нет, Мальва все равно не позволяла Кубе взять ее нормально, по-человечески, как мужик бабу. Впрочем, он даже не думал об этом – так хорошо ему было с Мальвой. Когда женщина и мужчина вместе, они создают свой собственный мир, управляемый своими законами. Эти законы всегда правильны и мудры, ведь они оба счастливы в этом мире. Но так продолжается до тех пор, пока не явится кто-то со стороны и не скажет, что им могло бы житься еще лучше. У смятения и беспокойства всегда источник в других людях.

Так вот, однажды на жатве Йонтек Гаца спросил Кубу:

– Видал Сальчу Неверовскую?

– Сальчу? – Куба откинул со лба мокрые от пота волосы. Йонтек только кивнул подбородком в сторону, настроил гусли и проехался смычком по басам.

Снизу, со стороны деревни, девки несли еду. Картошка с кислым молоком, хлеб, жур[7], приправленный сальцом с луком. Для хорошей работы нужно сытно питаться. Девки есть девки, они о чем-то болтали и хихикали, и их переливчатый смех разносился в мерцающем от жары воздухе. Мужики прервали работу, разогнули спины и прислушались, потому что девичьи смешки – один из самых красивых звуков на свете.

Сальча смеялась, пожалуй, громче всех. Она шла распахнутая, пышная и потная. И в каждом ее шаге было что-то такое, отчего хотелось с Сальчей танцевать, петь, пить вино или миловаться, а желательно все сразу. Да, бывают такие девушки.

[7] Традиционный польский суп из сквашенной ржаной муки.

– Моя будет, – загорелся Йонтек, потому что мужикам часто кажется, что девку можно себе выбрать, как кобылу на рынке.

– Да пусть будет, – равнодушно сказал Куба, потому что среди приближающихся девушек он заметил и Мальву – Мальву с волосами водяного цвета, Мальву-волшебницу. Парень осознавал, что эта странная девушка из ниоткуда околдовала его, но под этими чарами ему было хорошо, и даже в голову не приходило скинуть их. И чтобы немного задеть Йонтека, Куба еще добавил:

– Моя круче.

– Твоя? – удивился гусляр, но тут же почесал потный лоб, словно что-то с трудом припоминая. – А, точно. Вон та. Подожди, ее как-то странно зовут….

– Мальва.

– Мальва, верно. Удивительная такая, как лесная русалка. Уже дает?

Куба покраснел. Конечно, ему тут же вспомнилось, что он делал с Мальвой и что Мальва делала с ним, но все это нельзя было назвать словом «дает». А Йонтек Гаца глядел на шабесгоя с кривой ухмылкой, словно все знал, – люди, играющие на скрипке, вообще видят много из того, что ускользает от взгляда других.

– Есть немного, – буркнул наконец Куба, чтобы показать, что женские и мужские дела не так уж ему и чужды.

– Ну! Значит, не дает. Эх, Куба, Куба. Послушай ты меня. Эта твоя Мальва… – Йонтек внезапно прервался, наморщил лоб, пытаясь с трудом что-то вытянуть из памяти.

Так он и стоял, напряженно морща лицо, и выглядел при этом очень глупо. Затем беспомощно огляделся по сторонам и внезапно просветлел.

– Смотри, Куба, девки идут! Пошли, перекусим что-нибудь, а то у меня в животе урчит.

И хотя колдовство заставило даже Йонтека Гацу забыть о Мальве, а заколдовать гусляра не так-то просто, зерно было посеяно. Вечером, когда уже стемнело, Куба пришел к Мальве и прямо спросил:

– Почему ты не хочешь дать мне, как баба мужику?

Девушка обвила вокруг пальца густую прядь бесцветных волос. Ее комнатка цвела левкоями, чей запах пьянил сильнее самой крепкой водки. На стоящую в окне свечу слетались мотыльки, а кровать заросла дерном и мхом.

– Потому что ты дурак, – ответила наконец Мальва. Она смотрела на парня долго, очень долго, и глаза ее были бездонны и черны, как после волчьих ягод.

Куба не выдержал этого взгляда и опустил глаза. Он хотел уже уйти, но девушка приблизилась к нему, спустила одну лямку сорочки, затем другую. Белая ткань скользнула на заросший травой пол.

Мальва потянула Кубу на кровать и дала ему, как баба мужику. Это продолжалось недолго, потому что парень кончил, едва вошел в ее теплое тело. Он качнулся еще пару раз, но это было скорее смешно, чем приятно. Куба чувствовал себя чудовищно глупо. Он остановился и просто лег рядом с Мальвой. Неуверенно он погладил ее по животу, но девушка показалась ему странно напряженной, поэтому он перестал.

Куба закрыл глаза и не заметил, как уснул. Когда он пришел в себя, глубокая ночь висела над миром. По комнате гулял прохладный ветерок, как на лугу после полуночи, когда от реки тянет туманом. Кровать была пуста. Вместе с Мальвой исчезла трава, исчезли васильки, исчезли совы под потолком. Куба уставился в паутинный мрак висящих балок. Воздух в комнате пах уже не туманом, а сквозняком. Сыростью, затхлостью и пылью, как порой бывает в нетопленых домах. Вот так.

X. О сердце во второй раз

Сказывают, что бабы хотят от своих мужиков всего, а мужики от баб – только одного. И порой это истинная правда, а порой – полная ерунда.

После той самой ночи Якуб боялся, что Мальва исчезнет. Исчезнет навсегда, оставив его с горсткой воспоминаний и голодом в сердце – таким голодом, который невозможно утолить. Или же случится что-то более неприятное: Мальва исчезнет и чарами так запутает мысли у него в голове, что он не вспомнит ее вовсе.

Но то, что произошло, оказалось намного хуже.

Накануне обжинок – праздника урожая – похолодало. Пошел дождь, и все вокруг пропиталось влагой. От леса тянуло плесенью и грибами. Кольман даже затопил печь, потому что у его жены по ночам стали мерзнуть ноги.

И вот наступил день праздника. С самого утра корчма пришла в движение и наполнилась гулом голосов. Бабы несли свежий хлеб и медовые калачи из нового зерна, в кабаке пахло свежим хлебом и тмином. В печи запекали яблоки, в золе под ними – картошку, на рожнах вертелись куры и петухи, были откупорены первые бочки молодого пива. Хороший выдался год, и ни в чем недостатка не было.

Жир шкворчал, и ароматный дым поднимался вверх, словно это был не кабак, а жидовский храм. И не решетки это были и не печи, а жертвенники всесожженные, и треба свершалась не для бледного, утомленного Бога христиан, а для жирного, древнего и сильного бога иудеев. Посреди всей этой суматохи крутился Рубин Кольман, охваченный одержимостью пророка. Он присматривал за жареным мясом, пробовал пиво и сивуху, кричал и ругался, и казалось, что это не один, а десять Рубинов. Вокруг него суетились женщины – в любом храме должно быть много женщин – Кольмановы дочки, шабесгойки и крестьянки, потому что во время обжинок даже знатной хозяйке положено помогать жиду в корчме.

Кубе все не удавалось пробраться внутрь, чтобы отщипнуть хотя бы кусочек от этого добра, потому что Кольман со Старым Мышкой то и дело подкидывали ему новую работу. Сначала он чистил двор от пыли, потом белил забор, и, наконец, ему пришлось запрячь коренастого мышастого мерина в бричку и отправиться в Бжостек, в аптеку Лукасевича, за керосином и полынной настойкой по чешскому рецепту. Руки у Кубы были заняты, но он все равно сумел разглядеть Мальву, суетившуюся вместе с другими бабами. Этого было достаточно. Она не исчезла.

За поездкой прошел целый день. Хотя Бжостек был ближайшим городком, дорога была длиной, под нещадно палящим солнцем, то вверх, то вниз, и к тому же по дождевой слякоти. Мерин же был упрям и злобен, не по-конски, а по-ослиному.

У подножия похожего на купол холма, на котором возвышался городок, животное окончательно отказалось сотрудничать. Конь встал на месте, опустив голову, и пялился как бык, когда Куба пинал его и бил кнутом. Вот и пришлось тогда парню слезать с повозки и самому взбираться на крутой и размытый ливнем холм. Мерин, видно, что-то соображал, потому что чуть выше по склону поперек дороги стояла другая повозка с застрявшим в сломанном дышле волом. Вол ревел, его кривые ноги скользили по грязи, и вряд ли ему удалось бы подняться выше.

Однако Куба не оценил замысел коня. Его охватила ярость, и он был зол на все: на грязный, разбитый тракт, расползающийся под ногами, на старого Кольмана, который отправил его в город, на ясновельможного пана, которому приспичило выпить какой-то травяной настойки по чешскому рецепту, на мух, которые кусали немилосердно, потому что день был знойный и душный. И на время, что предательски утекало впустую, миг за мигом, – время, которое Куба мог бы провести с Мальвой.

Это была жалкая, сопляческая ярость.

Куба молча проскользнул мимо зовущего на помощь мужика, того самого, с барахтающимся в грязи волом, и побежал на рынок. Бжостек был небольшим городом: шесть улиц, в том числе одна главная – вдоль тракта из Пильзна в Ясло, церковь с башенкой, увенчанной луковичной крышей, низкие дома из желтой глины, рынок, аустерия и жидовская мясная лавка – все. Куба без труда отыскал аптеку Лукасевича и купил то, что нужно. На обратном пути он вновь прошел мимо стоявшей поперек дороги повозки. Мужик плакал, потому что вол переломал наконец себе кости, и должен был прийти мясник, чтобы добить его. Парень почувствовал укол совести: потерять такого вола – это ведь немалый убыток; однако это был не его вол, и потому хлопец вскоре выкинул эту неприятность из головы.

Бутыль с полынной настойкой не так уж много и весила, и будь Бжостек чуть ближе, не нужно было бы брать повозку и запрягать упрямого мерина. Правда, тогда Кубе пришлось бы тащить флягу на своем хребте. Не раздумывая, что было бы лучше, парень хлестнул кнутом коня и погнал его в обратный путь. Через буковый лес, через только что убранные поля, горы и долину, лишь бы поскорее увидеть Мальву!

Мышастый конь никуда не спешил. Неудивительно, ведь в трактире его ждала только темная конюшня и чуть увлажненный фураж – свежая солома не успела как следует просушиться. Поэтому он чапал смешанным иноходом, ставя попеременно то две левые ноги, то две правые, покачиваясь и пыхтя лягушачьим басом, что еще больше раздражало Кубу.

Парень вертелся в бричке, словно на еже. В горле у него пересохло, и он сделал глоток из бутыли. Чешская водка имела зеленый цвет, какой иногда приобретает вечернее небо после грозы. Пойло жгло так, что слезы из глаз текли; пить его было невозможно. Парень разболтал настойку в кружке пополам с водой из ручья, и как-то пошло. Вторая кружка ему даже понравилась. Куба дал попробовать и коню, но тот фыркнул и пить не стал.

– Ах, скотина ты тупая. Посмотрите на него, панской водкой он брезгует. – Куба сплюнул и снова хлебнул сам, на этот раз прямо из бутыли, потому что после пары кружек странная настойка уже не так сильно жгла. В ужасе он понял, что водки заметно убыло в бутыли. К счастью, ему внезапно хотелось отлить, и он засунул свой писун прямо в горлышко бутылки и нассал внутрь. Жидкость слегка изменила оттенок, но не настолько, чтобы это было заметно.

До трактира Кольмана оставалась миля, может, полторы. Дорога вела через лес, а потом через одичавший сад – давным-давно, еще в польские времена, здесь стояла усадьба. Мерин ни с того ни с сего остановился, навострил уши, фыркнул и потянул повозку прямо между корявых яблонь. Наверняка конь хотел добраться до опавшего белого налива, но Куба был уверен, что сделал он это из обычной для скотины вредности.

– Эй, стой, подожди! Куда ты? Пррру!!!

Конь и ухом не повел, тащил бричку прямо в сад. В лицо Кубе ударила ветка. Паренек зажмурился, потянул на себя поводья и принялся наотмашь хлестать непослушную скотину. Лошадь заржала и затопала на месте. Куба стегал и стегал коня кнутом, пока на его шкуре не появились кровавые рубцы.

Потом что-то свистнуло и выстрелило парню в лицо. Будто гадюка укусила.

Но это была не гадюка.

– Эй, хам, ты что, животных бьешь?

Вельможный пан появились неизвестно откуда прямо возле Кубы – в элегантном кремовом пиджаке с большими лацканами, на сером тонкокостном коне. От подступивших к глазам слез образ этот расплывался красками, словно на акварели. Казалось, что от всадника и его коня исходит чудесный свет, словно они только что сошли с иконы. Парень наклонил голову, чтобы лучше видеть, ясновельможный пан вновь угостили его шпицрутом.

– Не кривись так, придурок.

Куба упал на колени перед вельможным паном и принялся по-крестьянски охать и причитать. Он даже осмелился схватиться одной рукой за подпругу и поцеловать кончик панского сапога с высоким голенищем. Помещик с отвращением пнул им Кубу прямо в зубы.

– Заткнись. Распрягай лошадь. Ну же.

Парень отстегнул мерина от дышла. При этом он раздумывал, что скажет старому Кольману, но жид был далеко, а пан рядом, потому надо было слушаться пана. Конь радостно замахал хвостом и почапал искать среди деревьев яблоки. Через пару мгновений он исчез в зарослях. Слышалось только потрескивание веток.

– Надень хомут, – буркнули вельможный пан. – Чего уставился, тупая ты скотина? Хомут надевай, говорю.

И Куба надел. Он запряг себя в повозку и двинулся по дороге. Помещик, с гордой осанкой и довольный собой, ехал рядом, разбрызгивая раскисшую грязь. Так они проехали около двухсот шагов, когда из-за деревьев вновь вынырнул мерин. Он довольно фыркал, как на водопое.

Конь взгромоздился на сиденье брички, взял плетку между расходящейся стрелкой копыта и изгибом ноги и небрежно стегнул Кубу. Паренек напрягся так, что на висках проступили жилы, и с трудом потянул повозку. Тяжело, со скрипом, но он двинулся вперед; хорошо, что было под горку и не очень далеко. Помещик, увидев это, рассмеялся и поспешил следом.

Со двора трактира уже доносились пение и смех, музыканты лихо закручивали мелодии. Парень затолкал повозку в большой хлев, служивший в летнюю пору также конюшней и коровником. Мерину пришлось наклонить голову, чтобы не врезаться лбом в косяк. Так они и остановились посреди хлева.

– Ну, может, хватит? Слезай уже, – простонал Куба, выпутываясь из хомута. – Ты должен меня сейчас, гад, почистить и накормить, как только я немного отдышусь. И напоить, только не холодной водой, чтобы меня не раздуло.

Мерин только заржал и стал слезать с повозки. По пути к стойлу, он пару раз ткнул парня ноздрями в плечо: мол, не сердись, Куба, все это только шутки. Парень отчихвостил коня на чем свет стоял и тут же принялся расчесывать ему гриву и хвост, чтобы колтунов не было. Две старые коровы окинули парня долгим бессмысленным взглядом и впали в отупение, обычное для коров, когда они стоят под крышей.

Раздался тихий скрип, и дверь широко распахнулась. Кто-то вошел в хлев.

– Конь ехал в бричке.

Голос Ханы не выражал удивления, потому что Хана редко удивлялась чему-либо. Она только впилась в Кубу темными, бездонными глазами и в эту минуту напоминала еще одну корову.

– Э, тебе показалось. Конь в бричке – это нечто. А кто повозку тащил, я, что ли?

Тишина. Такая тишина, что толкает в бок и давит где-то внутри. Шорк, шорк, жесткая щетка шоркает бок мерина.

– Ты подоишь коров, Хана? Потому что я буду нужен там, в зале…

Это была глупая ложь, потому что Куба ни для чего не был там нужен. Он просто спешил к Мальве, и они оба хорошо знали об этом – Хана и Куба.

Поэтому жидовочка только кивнула, сняла с колышка белый платок, повязала им виски, придвинула к себе табуретку и взялась за вечернюю дойку. Парень выскользнул из хлева, не сказав на прощание ни слова. Он глубоко вздохнул, и что-то кольнуло его между печенью и грудиной, там, где лежит душа, но Куба не придал этому значения. В голове у него была только Мальва, и места для других мыслей уже не хватало.

Куба облил лицо и руки водой из колодца во дворе и спешно побежал в гойхауз за новой рубашкой. Льняная материя натирала подмышки. Рубашка была еще чистой, он носил ее всего два дня.

Обжинки были в полном разгаре. От смеха, пения и музыки корчма тряслась от пола до крыши. Толпа мужиков и баб высыпала на дорогу, и казалось, будто гулянье сбежало из трактира, как молоко из кастрюли. Куба попал в самый разгар буйства, сбив с ног нескольких селян. Один хотел было подраться с парнем, но молодое пиво уже шумело у него под шапкой, потому на ногах он держался нетвердо; двое товарищей пытались оттащить его, и он их облевал.

Йонтек Гаца и другие музыканты играли так, словно гусли и смычки обжигали им пальцы, словно они собирались играть плясовую до второго пришествия. Тут и там суетились девки, сами взявшиеся разносить еду и напитки, – известно, что так легче всего попадаться парням на глаза. Среди девушек выделялась Сальча Неверовская. Ей и пива не нужно было разносить, от ее покачивающихся бедер и так никто из мужчин не мог отвести глаз: и сельская молодежь, и деревенские бобыли, и старые, женатые мужики. Ей не нужно было, но она все же разносила пиво, чтобы тем сильнее блистать на фоне других девиц, потому что такова уж бабская натура.

Куба не смотрел на Сальчу, вернее, не смотрел на нее как-то особенно. Он высматривал в толпе Мальву. Есть! Розовая, цветастая, словно и не она. Сегодня вечером даже ее волосы приобрели цвет – и это был цвет лунного сияния. Кубе хотелось сорваться и побежать к ней сквозь толпу, но он присмотрелся получше, и животный страх сковал его на месте.

Мальва несла поднос, на котором был выставлен ряд толстых стаканов, самых красивых и изящных, какие только были у старого Кольмана. Мальва несла это стекло, несла его вельможному пану.

Помещик Викторин Богуш расположились в самом зала. В каждом вертепе должен быть какой-то Ирод. Они курили сигары, громко смеялись и крутили ус в окружении подхалимов-дворовых, кучера, каких-то зажиточных крестьян и целого роя девок. Каждое вылетавшее из ясновельможных уст слово сопровождал взрыв смеха; а когда наследник доказывали что-то с особым красноречием, все вокруг него так усердно кивали, что казалось, что это не добрые христиане, а жидки, раскачивающиеся над талмудами.

Мальва поставила перед паном Викторином поднос со стаканами, в которых плескалась зеленая настойка, та самая, которую Куба привез из Бжостека. Зажиточные мужики за столом, не знавшие панских обычаев, подозрительно поглядывали на напиток, но раз ясновельможный пан пожелал, то выпили залпом. Выпили, поперхнулись, закашлялись и вытаращили глаза, будто вот-вот готовы были отдать концы. Кубе подумалось, что это какая-то измена, что самые знатные земледельцы деревни сейчас падут трупами. Но пан Викторин с дворовыми разразились хохотом, Кольман стал аплодировать, а за ними расхихикались девки, сначала робко, а потом, когда стало ясно, что это не яд, смеялись так, что чуть уши не лопнули, как только бабы умеют.

Пан Викторин кивнули Кольману, который услужливо подскочил с миской, полной чешского сахара в кубиках и кувшином свежей колодезной воды. Вельможный пан подхватили веселую Мальву и посадили ее себе на колено. Затем они придвинули два стакана с зеленой водкой, один для себя, другой для девушки-чародейки, и собственноручно долили холодной воды до краев. Они сильно посластили, потерли серной спичкой о голенище сапога и подожгли напиток. Настойка вспыхнула синим пламенем и горела еще некоторое время, пока помещик не кивнули Мальве. Тогда они оба взяли по стакану, задули пламя и выпили залпом.

– Вот так, хамы, надо пить! – воскликнули вельможный пан. И все смеялись, а Мальва громче всех, как шлюха, некрасиво и хрипло.

Стакан шел за стаканом. Пили все зажиточные крестьяне, добавляя сахару, сколько влезет, потому что им нечасто доводилось пить панскую водку, к тому же подслащенную. Старый Кольман тоже пил, даже музыкантам досталось по одной. И никто, никто не понял, что в зеленую водку кто-то нассал.

Спрятавшись в углу, Куба дрожал от страха, опасаясь, что его выходка выйдет наружу, но больше всего он боялся другого.

За панским столом уже вовсю дымились чубы. Одна только Мальва спокойно опрокидывала стакан за стаканом, словно воду пила. Вельможный пан Богуш облапал ее и попытался поцеловать, слишком пьяный, чтобы понять, что Мальва не может быть простой девкой, ведь обычная девка уже упилась бы к этому времени до потери сознания.

А Куба стоял в стороне и кусал пальцы, потому что за столом вельможного пана было слишком много людей, чтобы он мог просто так подойти и отобрать у него Мальву. Он пил обыкновенную грубую сивуху, а внутри у него, как кипящая смола, разливалась жгучая чернота. Эта чернота залепила ему глаза и сердце, и он ничего не видел сквозь нее.

В тот день в таверне Кольмана танцевали черти.

Весь мир уже был изрядно пьян, когда Куба наконец встал и вышел отлить. Ночь стояла высоко, и в деревне разлаялись собаки. Капелла уже давно перестала играть. Басист лежал ничком под скамейкой, и на голову ему лилась струйка из опрокинутого кувшина. Йонтек Гаца, гусляр, радостно трахал прижатую к забору Сальчу Неверовскую, совершенно голую и не до конца понимающую, что с ней происходит; парни явно подлили ей чего-то в водку.

Куба не обращал на это внимания, хотя обычно, видя такие сцены, стеснялся и краснел, как баба. Он отправился в сарай, где нашел вбитый в косяк ножик для древесины. Он крепко сжал инструмент и несколько раз бросил на пробу. Это был хороший нож, он отлично лежал в руке. Парень двинулся обратно через двор, чтобы перерезать горло ясновельможному пану и любому, кто встанет у него на пути.

Так получилось, что первой на пути ему попалась Мальва. Может, она шла за припрятанным яблочным вином, а может, за чем-то другим.

– Что у тебя там? – резко спросила она Кубу.

Парень осмотрел нож со всех сторон.

– Ничего, – ответил он и спрятал нож за спину.

– Брось это.

– Что у него есть такого, чего нет у меня?

Девушка посмотрела на Кубу, и этот ее взгляд не имел ни цвета, ни выражения. Люди не умеют так смотреть, и Куба не на шутку перепугался.

– У него есть сила, – спокойно ответила Мальва. – Он имеет власть. Когда он говорит, другие слушают. А ты? Ты красив, но и он не урод. Что ты можешь дать мне, чего он не может?

Так сказала Мальва. Возможно, ей не следовало этого говорить, потому что в ответ Куба распахнул рубашку и вонзил нож себе в грудь по самую рукоять. Он дернул влево, дернул вправо, потянулся рукой к окровавленной ране и вынул изнутри сердце. Оно пульсировало в его руке, черное в темноте ночи, истекая кровью и студенистыми сгустками.

Без единого слова Куба передал сердце Мальве. Девушка посмотрела на него глазами водяного цвета. А потом взяла подарок и ушла.

XI. О том, что не удивляет

Сказывают, что в ту ночь обжинок Хана Кольман вновь танцевала на крыше. Она танцевала, подняв руки вверх, вовсе не думая о том, что может упасть. Танцевала так, будто целая стая диббуков[8] вселилась в нее.

Старый Мышка нашел ее на рассвете в саду, полном цветущих мальв. Она напоминала брошенную куклу и уже начала остывать.

Все в деревне жалели Хану, потому что она была хорошей и милой девушкой, хотя и жидовкой. Ее жалели, но ничуть не удивлялись. Это должно было закончиться так.

[8] Черти, злые духи в еврейской мифологии.

XII. Об осени и ожидании

Сказывают, что в тот год осень пришла вся в красном. Осень в предгорьях всегда имеет цвет ржавчины, но после того, как Мальва поселилась в усадьбе в Седлисках, горы словно вспыхнули ярким огнем. Так пламенели буковые леса.

Да и сама поросшая виноградными лозами усадьба тоже будто пылала. Астры и поздние розы буйно расцвели в саду, и во всей округе не было прекраснее цветов. Даже английские сады князей Сангушко в Тарнуве и французские парки Любомирских в Ланцуте не могли сравниться с садом помещика Викторина Богуша, владевшего лишь горсткой деревень.

В тот год был невиданный урожай фруктов, яблони и груши гнулись под тяжестью плодов, хотя весной прошел град и побил цветы, а потому год для яблок был не самый лучший. И даже виноградник, который вельможный пан Викторин засадил несколько лет назад по возвращении из южной Франции, был усыпан черными гроздьями и источал такой аромат, что казалось, будто это солнечная Тоскана, а не какие-то жалкие Седлиски в Пильзенском округе хмурой Галилеи[9]. Не хотелось, чтобы все эти дары природы пропали, а потому хамам добавили по несколько дней добровольной барщины, чтобы все собрать. Такая это была осень.

Растительность буйствовала не только снаружи усадьбы. Лианы проникли в гостиную и кабинет вельможного пана, а в прихожей созревали огромные тыквы. В спальне вся кровать заросла маками, хотя время для маков давно прошло. А старого пана Станислава, который вот уже несколько лет страдал параличом и катался в кресле на колесиках, полностью оплел ароматный вьюнок так, что из него торчали только гладкие, как мрамор, руки. Вокруг протяжно жужжали пчелы, они забирались ясновельможному Богушу-старшему в рот и кормили его пыльцой и пергой. Прибывшие в поместье гости-шляхтичи и чиновники из округа осторожно ступали, чтобы не растоптать тыквы, и раздвигали плющ с кресел, когда хотели присесть. И никто, никто из них ни словом не обмолвился о том, что происходит нечто странное. Гости уезжали и тут же обо всем забывали.

Однажды явился ксёндз каноник Мартин, двоюродный брат пана Станислава, помощник епископа в Тарнуве. Он посмотрел на тыквы в прихожей, увидел все эти буйно растущие плющи и лианы. Побледнел и отшатнулся, шепча молитву Михаилу Архангелу. Но тут появилась Мальва и поцеловала священника в губы. И так долго длился этот поцелуй, что пан Викторин под бакенбардами побагровел от волнения. Когда же она закончила, ксёндз превратился в кусок трухлявого дерева. Его поставили на застекленную веранду, где он оброс мхом и грибами, а пчелы устроили в нем улей.

Обо всем этом было известно в Каменицах от вельможного пана Богдана Винярского, ветерана войны восемьсот девятого года, который много лет сидел в гостях у Богушей, но любил заглянуть в корчму Кольмана и провести там два-три дня.

Чудеса творились и в деревне, хотя это были чудеса совсем иного рода.

Однажды вечером Куба Шеля возвращался домой на бричке, запряженной упрямым мышастым мерином. Он вез глину на новый пол, мел для побелки стен и дрова на зиму. Дорога, как и прежде, шла через лес. Уже заметно вечерело. Куба вернулся бы домой пораньше, но ему пришлось еще заехать в Глобикову за лекарством от камней для Старого Мышки. Болезнь его настолько скрутила, что он не мог не только пописать, но даже встать с постели; хорошо, что жид Кольман душевным был человеком и не прогнал старика со двора. Куба узнал откуда-то, что в Глобиковой, на землях вельможного пана Слотвинского, живет громовой дед, который не только молнии заклинает, но и варит снадобья от разных хворей. Однако до Глобиковой из деревни Кубы довольно далеко, и поэтому пареньку пришлось возвращаться в сумерках.

---

[9] Ироничное, разговорное название Галиции.

Воздух был легкий и чистый, пахло наползающим с полей октябрьским туманом. Под копытами лошадки шуршали листья, бричка ритмично поскрипывала. Куба в раздумьях смотрел на собственное дыхание, которое обращалось в пар, и растирал руки, чтобы согреться. То и дело он прикасался к груди, чтобы почувствовать сердце, но нет – там ничего не было. Ни малейшего стука. Ничего.

И пока он так ехал, до него внезапно долетело пение:

Эрев шел шошаним
Нетсе на эль хабустан
Мор бесамим улевона
Лераглех мифтан

Зашелестели листья, подул ветер. Он принес с собой аромат ветреницы, сладкий и дурманящий, хотя откуда бы в это время года взяться ветренице.

Лейла йоред ле'ат
Веруах шошан ношвах
Хава эльчаш лач шир балат
Земер шел ахава.[10]

Парень хлестнул кнутом по конскому крупу, раз-другой, погнал мерина рысью, а сам поднял выше воротник кафтана и натянул капюшон на темя. Скорее, скорее, только бы не слушать. Он попытался произнести ангельское приветствие, но с тех пор, как избавился от сердца, слова молитв путались у него в голове, и он не мог ни слова выговорить до конца.

– Мара ты, Мария, плача полна…[11]

Пение не затихало ни на минуту, словно преследовало Кубу по пятам. Парень хлестал коня до крови. Голос умолк, только когда они выехали из леса, но Куба и не думал замедляться.

Он уже подъезжал к первым хатам деревни, когда наконец решился обернуться. На опушке леса, вдали, маячила белая фигура. Парень перекрестился, но призрак не исчез.

Бричка влетела во двор корчмы, и тогда Куба оглянулся в последний раз. Он ничего не увидел, потому что растущие вдоль тракта рябины заслоняли обзор, но что-то подсказывало ему, что белая фигура все еще ждет на краю зарослей. И что ждет она не кого-нибудь, а только его. Кубу.

[10] Еврейская народная свадебная песня «Вечер роз».

[11] Искаженная строчка из Ангельского приветствия Божией Матери: «Радуйся, благодатная Мария…». *Мара* – в славянской мифологии призрак, мучающий по ночам, лишающий рассудка.

XIII. О негодных советах

Сказывают, что Старый Мышка разбирался в потустороннем мире и не раз бывал полезен, когда кого-то мучила мара или преследовали злые духи; но не тогда, когда ему самому стали докучать камни в мочевом пузыре. И когда Куба спустя несколько дней рассказал старику обо всем, тот только рассердился и накричал:

– А что ей делать в лесу? Коли это и вправду она, то вокруг дома кружила бы. Или сидела бы верхом на дымоходе и выла. Или по кладбищу бы шаталась, потому что, кажется, у некоторых жидов тоже есть души – только маленькие и как бы чуть покалеченные. Ну а она доброй девушкой была, так почему бы и нет. Ты, должно быть, русалку видел, только и всего. Странно только, что сейчас, а не весной. Кто знает, может, и осенние русалки бывают. Отчитай лучше полностью четки или пойди церкви двадцать крейцеров пожертвуй, чтобы зло ушло.

Так сказал Старый Мышка. Затем он изрядно хлебнул настойки от камней, разложил себе постель и улегся спать, потому что небо уже затянули сумерки. А Кубе мысль о походе в церковь вдруг показалась такой отвратительной, что его даже мутить начало; к тому же двадцати крейцеров у него тоже не было, а если бы и были, то он наверняка нашел бы им другое применение.

Куба вышел на улицу закурить махорку и успокоить мысли. Призрак девушки в белом снова замаячил где-то в полях за деревней, даже ближе, чем в прошлый раз. Куба поморгал, и фигура исчезла. В сумерках всякое случается, сказал он себе. И сам в это не поверил.

XIV. Об изгнании боли

Сказывают, что когда не помогают лекарства и всякие снадобья, следует прибегать к иным способам избавления от боли. Ибо боль входит в человека, как черепаха в коровье вымя, и ищет себе место, чтобы устроиться.

У Старого Мышки таких болей было шесть. Одна дергала, другая колола, третья ныла, четвертая рвала, пятая мотала, а последняя давила и была, пожалуй, хуже других, поскольку, хоть и была не слишком сильна, но ни на минуту не отпускала и непрестанно портила жизнь.

Однажды ночью Мышка и Куба вышли на улицу. Они шли и шли, пока не дошли до церковного сада, где отыскали вековую, шершавую вишню. Старый Мышка разделся догола и велел Кубе вонзить в свое тело шесть игл, по одной на каждую боль. Иглы они сделали из щучьих костей, так как для колдовства не годятся железные, а серебряных у них отродясь не было. Одной иглой Куба проткнул старику пупок, две другие вонзил с обеих сторон в ямки между ключицами и плечами; четвертой проколол складку высохшей кожи на животе над мочевым пузырем, там, где начинаются волосы; пятой пронзил насквозь мошонку, а последнюю засадил глубоко в икру.

Мышка, одурманенный отваром полыни и копытня, почти не чувствовал боли. Куба продел сквозь игольные ушка суровые нити разной длины и привязал их к вишне. Старик поднял руки кверху, стал ходить вокруг дерева посолонь[12], напевая:

Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого,
Бога в Троице Единого.
Боль ты, боль моя, о шести головах,
От шестой к пятой,
От пятой к четвертой,
От четвертой к третьей,
От третьей ко второй,
От второй к первой,
От первой ни к какой,
Уходи, боль, в землю! Хыц!

На «хыц» Мышка выдернул первую иглу – из пупка. На ее конце корчилась боль, маленькая и безобразная, похожая на медведку или земляного жука. Тварь запищала, побежала и зарылась в землю у корней вишни.

Старый батрак не останавливался и продолжал ходить вокруг вишни. По низу живота у него стекала кровь.

Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого,
Бога в Троице Единого…

После следующего «хыца» вторая боль выпрыгнула из тела, на сей раз из ключицы. Она долго носилась по кругу и попискивала, напуганная, как изгнанный из норы крот, пока Куба не раздавил ее башмаком.

И так все продолжалось, боль за болью. Все они были чем-то похожи друг на друга – многоногие твари, напоминающие гусениц и насекомых. Только боль из яичек скорее походила на крупного жука или черепаху, круглую и твердую, как орех.

---

[12] *Устар.* по ходу солнца от востока к западу

Последняя боль – та, что из икры – вылезла с тремя головами, зашипела и попыталась укусить.

– Это не конец-с-с-с, еще много нас-с-с, х-с-с-с, х-с-с-с! – огрызнулась боль.

Куба раздавил ее сухой веткой, но это не улучшило настроения Старого Мышки. Потому что, хотя шесть болей были изгнаны, в теле осталось еще несколько. А всем известно, что девятая боль смертельна.

Парень помог старику натянуть чистую рубашку и штаны; кровь они не вытирали и не перевязывали раны, чтобы тело могло очиститься от оставшихся от боли ядов.

Куба и Старый Мышка вернулись в гойхауз далеко заполночь. Они сразу погрузились в сон, даже не заметив девушку в белом, стоящую возле забора.

Утром они заглянули в церковный сад. Старая вишня стояла словно обгоревшая, вся черная и безлистная.

XV. О сердце в третий раз

Сказывают, что в те дни усадьбу в Седлисках посещало немало знатных господ. Похоже, что поляки плели козни против Светлейшего Кайзера и готовили восстание. Оно должно было вспыхнуть сначала в Варшаве, а потом перекинуться на все земли бывшей Речи Посполитой. Так говорил Рубин Кольман. Уходя к усадьбе собирать плоды терна и шиповника, Куба не раз украдкой наблюдал въезжающие во двор кареты. Чужие господа надолго задерживались в Седлисках. Дворовая прислуга рассказывала, что гости много ели, пили и о чем-то возбужденно толковали. Кубе эти шляхетские забавы не нравились, потому что, когда помещики веселятся, это редко чем-то хорошим оборачивается для крестьян. Однако хлопца в усадьбу тянули другие дела.

Кубе казалось, что только он замечает перемены в поместье – все это буйное цветение, плодоношение и густую растительность. Даже Старый Мышка, которому немного полегчало после ночных заклинаний, отчитывал парня и уверял, что ему все кажется. Но Кубе ничего не казалось. Он часами сидел в зарослях шиповника, и ему не раз удавалось заметить Мальву.

Он не раз видел, как она прогуливалась по саду в компании заезжих шляхтичей, и ее расшитое кружевами платье было тяжелым от дорогих камней; ясновельможный Викторин не скупился на драгоценности для своей любовницы. Иногда Мальва появлялась в саду в юбке из паутины и тумана или из лепестков осенних цветов. Однажды она вышла совершенно голой и удобно устроилась в плетеном кресле на веранде. Принесли кофе в голландских чашках, а ясновельможный Викторин и один из его почтенных гостей, какой-нибудь Потоцкий или Сангушко, наперегонки прислуживали Мальве, подавая то сахар, то цукаты, то конфекты из самых дорогих и изысканных тарновских кондитерских, то еще что-то. А Мальва все ела, неприлично много ела, но это никого не смущало и не огорчало.

Куба быстро ушел оттуда. Таков закон мира: хам должен терпеливо сносить все обиды, но страдать сверх меры нет никакой необходимости. Хлопец вернулся в трактир и взялся помогать чистить яблоки на штрудель. Он запер свою голову на ключ и закрыл все свои мысли. Только бы не думать о Мальве.

До поздней ночи он ворочался в постели и не думал. Он пережевывал свое бездумье, словно это было горькое ивовое лыко или клей, приготовленный из бычьих копыт. Если бы у него было сердце, оно бы наверняка кололо или же стучало, сбиваясь с ритма; но сердца не было, в груди стояла тишина, глухая, как осенняя ночь или как могила.

Кубе казалось, что он не спит, пока его не вырвал из сна шорох за окном. Шорох и тихие шаги, как будто ходил кто-то, желавший остаться неуслышанным, но не умевший передвигаться достаточно тихо. Так ходили кошки, которых держали в усадьбе Богушей для забавы и которым никогда не приходилось охотиться.

Куба увидел Хану, когда она стояла у окна. В ее бледном лице, обрамленном спутанными волосами, было что-то лунное и, казалось, оно сияло тусклым светом. Парень повернулся на другой бок и сделал вид, что спит, но все же почувствовал на себе ее жгучий взгляд.

– Уходи, – буркнул он через плечо.

Она не могла его слышать, потому что этого не слышал даже Старый Мышка на соседней кровати. Но возможно, в загробном мире все слышно лучше – Хана отступила, и Куба больше не видел ее в ту ночь.

На следующее утро парень извлек из-под сенника сердце Ханы. С тех пор, как Куба получил его в дар, он не уделял ему внимания. Сердце уже успело покрыться паутиной и махровой плесенью, а мыши и жуки проели в нем дыры. Куба завернул эти остатки в тряпки и отнес на еврейское кладбище вскоре после полудня, когда еще было светло.

Кладбище пряталось среди голых кустов сирени у дороги на Гожееву. Оно лежало в зарослях, не бросаясь в глаза, словно было чем-то постыдным – вроде незаконнорожденного ребенка или парши на теле.

Куба отыскал могилу еврейки не без труда, так как большинство были очень похожи друг на друга. К тому же у Ханы еще не было надгробья. Она лежала под плоским холмиком не означенной земли, словно там похоронили не человека, а животное. Парень глянул налево, глянул направо – никого. Только ветер шумел в ветвях, сухой и мягкий, какой бывает осенью. Желто-зеленый дятел простукивал кору сирени. Других звуков в мире не было.

Паренек голыми руками разгребал глинистую землю могилы. Он быстро копал, снова и снова оглядываясь. Наконец ему удалось вырыть ямку на глубину руки. Он погрузил в нее жалкие остатки сердца Ханы, засыпал, аккуратно утрамбовал землю и подтянул сверху раскидистый плющ, который волочился по всему кладбищу.

Дятел внезапно сорвался с хохотом и исчез в зарослях. На противоположном краю кладбища стояла Хана и смотрела на Кубу, хотя солнце было еще высоко, а призраки не должны показываться в этот час.

– Готово, – нервно бросил он. – Мы квиты.

А Хана печально наклонилась и сгорбила плечи так, что черные волосы совсем упали ей на лицо. Она медленно подошла к могиле, встала рядом и исчезла, словно ее и не было. И стало очень холодно.

XVI. О сборе ивняка

Сказывают, что ивняк лучше всего собирать поздней осенью, когда ивовые соки текут медленнее, а сами деревья становятся вялыми и лишаются сил – тогда они могут не заметить отсутствия нескольких ветвей. Ведь ивы мстительны и очень злопамятны.

Когда наступила пора срезать ивняк, стало ясно, что в тело Старого Мышки вошел рак. Боли вернулись, и такие сильные, что их не удалось прогнать ни лекарствами, ни заклинаниями. Мышка худел и бледнел, становился прозрачным, как воздух, и казалось, что любой порыв ветра развеет его, как туман. Ел он только еврейскую мацу, размоченную в молоке, потому что от всего остального его сразу тошнило. С правого бока, под ребром, у него росла твердая шишка. Раз в несколько дней опухоль лопалась, и из нее выливалась кровавая жижа; Мышке тогда становилось так больно, что он ходил весь скрюченный и над ним смеялись деревенские дети.

На Святого Мартина настал черед собирать ивняк для усадьбы. Идти должны были все, даже безземельные, но никто не жаловался, потому что работа была легкая. Пошли и Куба с Мышкой, чтобы не нарваться на гнев пана и управляющего.

В те дни у Богушей гостил вельможный пан Доминик Рей из соседнего городка Эмауса, большой друг пана Викторина. Оба шляхтича прогуливались по дороге, вдоль ив-апостолов, и наблюдали, как рубят ветки крестьяне. Известно, как приятно наблюдать за работой других.

День был сухой и ясный, идеально подходящий для работы. Однако около полудня Старый Мышка начал слабеть. Он побледнел, лоб его покрылся потом, дыхание стало рваным и свистящим.

– Вам хуже? – спросил Куба. Старик только кивнул, не в силах отдышаться, поэтому парень усадил его на край рва. – Посидите, отдышитесь немного.

Парень вернулся к работе. Ему нравилось работать с ивняком, нравилось ощущать под пальцами его шершавую гибкость. Он быстро срезал, безошибочно выбирая лучшие побеги и оставляя слишком вялые и чрезмерно одеревеневшие. Как будто ивы сами подсовывали ему лучшие побеги. Он так забылся в работе, что не сразу расслышал громкие голоса. Только когда, оглянувшись через плечо, Куба увидел ясновельможных Викторина Богуша и Доминика Рея, которые вместе с управляющим стояли над скорчившимся Мышкой, он понял, что дело плохо. В своих обтягивающих брюках и сапогах с голенищами паны напоминали грозных длинноногих птиц, склонившихся над безземельцем, как над падалью.

– …Только дух дайте перевести… вельможные паны… в животе очень колет, вот здесь…

– Я тебе переведу дух, гнусный мерзавец! – вельможный пан Викторин отступил на шаг с отвращением, опасаясь, что Мышка дотронется до них, испачкает или чем заразит.

– Они гнусные, потому что такова их хамская натура, – глубокомысленно заметил пан Доминик. – Уже мой пращур Миколай[13] триста лет назад писал сатиры на ленивых крестьян. С тех пор ничего не изменилось.

– Я им покажу сатиру! – Пухлые щеки пана Викторина налились кровью. – Мыхайло, пять палок и еще две для поощрения! Пусть получит, ленивый ублюдок.

– Потому что это мужичье на навоз похоже, – задумчиво произнес пан Доминик и покивал головой, как суровый священник. – Ему бы только лежать и смердеть.

Управляющий Мыхайло, мерзкий рябой тип, нехотя взял палку.

– Я не люблю бить баб и стариков, ваше благородие.

– А я тебя, хам, спрашиваю, что ты любишь, а что не любишь?

---

[13] *Миколай Рей* (1505–1569) – отец польской литературы, начавший писать вместо латыни на родном языке. Одно из его известных поэтических произведений – «Сатира на ленивых мужиков».

Мыхайло опустил свою мерзкую морду.

– Нет, вельможный пан.

– Тогда бей.

И тут Куба отложил свой ивняк и сделал два шага вперед.

– Я возьму на себя его палки.

Ясновельможные Богуш и Рей переглянулись.

– Это твой отец, хам? – спросил первый.

– Нет, вельможный пан.

– Дед? Отчим? Дядя?

– Нет, вельможный пан. Никто.

Их благородие Викторин Богуш с любопытством приблизились к Кубе хищным кошачьим шагом. Они стояли прямо перед парнем, постукивая хлыстом по голенищу сапога.

– Как тебя зовут?

– Якуб Шеля.

Шляхтич ударил Кубу по уху.

– Якуб Шеля, вельможный пан, – прорычал он.

– Якуб Шеля, вельможный пан.

– Почему ты хочешь взять на себя удары старика?

По-разному потом говорили, что Куба ответил пану Викторину. В некоторых из этих рассказов шляхтичи узнавали своенравного крестьянина, которого велели выпороть летом, и побаивались его. В других Якуб в хлестких выражениях обвинял пана Богуша в бессердечии и жестокости. В третьих Куба разрывал на себе рубаху, подставлял спину и говорил вельможному пану:

– Выпорите меня, ну же, и палок не жалейте.

Но это все истории, придуманные потом панами и для панов, потому что именно паны подмяли под себя историю и записали ее для себя. В этих рассказах Куба – тоже пан и мыслит как пан, хотя и носит крестьянскую одежду.

А на самом деле Куба ничего не ответил, опустил голову и стал ждать. Рубаху он не рвал, потому что рубаха – ценная вещь и было бы ее жалко. Ибо такова судьба хамов всех времен: опусти голову и не спорь ни с панами, ни с богами, ни с иными сильными мира сего, и принимай в молчании все палки, иначе нельзя.

Викторин Богуш окинул парня насмешливым взглядом и кивнул управляющему.

– Выпори его, ну же, и палок не жалей.

И так Мыхайло избил Кубу, но как-то так без сердца и без запала, потому что, хотя работу он свою любил, ему впервые довелось видеть, как кто-то пожелал взять на себя чужое наказание. Поэтому он бил Кубу уважительно и не слишком сильно. Семь ударов и ни одного больше, хотя он, как известно, любил ошибаться в счете. Напоследок Куба поцеловал Богушев перстень, поклонился в пояс и поблагодарил.

Наверное, на этом все и закончилось бы, если бы не вмешался пан Доминик Рей.

– Ради Бога, Викторин, это какой-то фарс. Ты же видишь, что твой управляющий чуть ли не спину этому хаму лижет. У нас в Эмаусе бабы крепче бьют своих мужиков, когда они пьяные из кабака возвращаются. Побойся Бога, дорогой! К чему это приведет, если один хам за другого палки брать будет? Вот увидишь, сразу шельмы хитрить начнут, не успеешь оглянуться, и начнут дежурства устраивать или тянуть жребий, кто у кого когда будет палки собирать. Ради Бога! Ведь не может быть вины без наказания!

Вельможный пан Доминик Рей были человеком очень набожным, они основали церковь и три часовни, и Бога в свидетели часто любили призывать, потому что считали Господа Бога своим хорошим знакомым. Ясновельможный Викторин тщательно обдумали всю ситуацию и признали друга правым. Поэтому они приказали дать Кубе еще три палки за изворотливость,

а Старому Мышке приказали связать длинным ремнем запястья и соединить другой конец этого ремня с подпругой его лошади. Старик стонал, пускал слюни и плакал. Пан Викторин, с отвращением глядя на него, вскочили на коня и погнали его бодрой рысью вдоль ив-апостолов, туда и обратно, и снова, и еще раз.

– Ну, вот и задвигались, дедушка? Тогда за работу. – Вельможный пан слезли с лошади и пнули Старого Мышку носком сапога. Старик не дрогнул, и они со злостью пнули его сильнее. И дальше ничего.

Управляющий Мыхайло присел на корточки возле Мышки. Он заглянул ему в глаза, прижался щекой к губам, приложил ухо к груди.

– Труп, ваше благородие.

– Я вижу, идиот! – возмутился Викторин Богуш.

Все крестьяне прекратили работу. Хозяин Седлиск чувствовал на себе их тупые, бычьи взгляды. Чувствовал и боялся.

– Подождите, – внезапно заговорил Доминик Рей. – Он жив.

Действительно, Старый Мышка болезненно застонал, тихо-тихо, мышиным писком. Тощая грудь старика с усилием дрогнула раз и другой. Оба шляхтича склонились над дедом. Пан Доминик поправил пенсне, словно разглядывая какое-то любопытное насекомое.

– Выживет, – заключил пан Рей. – С ним ничего страшного не случилось.

– Ну, вы меня слышите? Ничего не произошло. Возвращайтесь к работе, – сказали ясновельможный Викторин.

Старый Мышка умер к полуночи. Его похоронили в нищенской могиле, прямо в земле, за оградой кладбища, потому что при жизни он прислуживал жидам. Вот и весь сбор ивняка.

XVII. О тайне карпатского леса

Сказывают, что случилось это в ноябре, в самое дождливое время, пропахшее сыростью, как бездомный пес.

Дни тянулись бесконечной чередой. Куба коченел от холода внутренней пустоты, оставшейся у него вместо сердца. В его жизни больше не было ни Мальвы, ни Ханы, ни Старого Мышки. Парень собирал буковые орешки и рубил дрова в лесу, наблюдая по утрам седеющий от инея мир и ожидая прихода суровой зимы. Но не Куба держал в руках топор, а его руки; и не он собирал орехи, а его пальцы. В Кубе вообще мало что осталось от Кубы.

В смерти Старого Мышки он увидел собственную смерть, собачью смерть. Так подыхают безземельные крестьяне. Он знал, что закопают его прямо в землю за пределами кладбища, как шабесгоя. Он знал, что эта могила зарастет крапивой и лебедой, а самого его съедят черви и другие таинственные существа, живущие под землей. И возможно, он останется в этой земле навсегда, потому что, кто знает, может, шабесгои, как евреи и животные, не имеют души, а значит, для них нет места даже в самом темном уголке Чистилища.

Парень бродил по лесу, под ногами у него хрустели рыжие листья и расколотые орешки, и думал он, что память о предках хороша для господ, которые, кажется, могут проследить свою родословную до самого праотца Адама. И пришло в голову Кубе, что, может, хамы ведут свой род вовсе не от Адама, и сотворил их вовсе не Бог. Может, первые хамы вышли прямо из земли, из перегноя и корней. Так он думал, и эти мысли теснились у него в груди. Он даже не мог прислушаться к биению сердца, как делал это раньше, желая заглушить все обиды и муки, ведь теперь у него уже не было сердца.

В буковых лесах предгорий полно обманчивых лощин и похожих друг на друга уголков. Даже тех, кто хорошо знает лес, – разбойников и отшельников – черти путают и водят по неверным тропам.

Погруженный в свои мысли, Куба шел и шел, пока из-под лесного бурелома не выползла ранняя тьма. Парень поднял голову: небо над сплетением буковых крон затянулось вечерней серой пеленой. То тут, то там попадались лиственницы, поэтому он решил, что, должно быть, забрел слишком далеко на юг, к Преображенской горе, о которой Старый Мышка рассказывал странные вещи. Стороны света трудно было различить, не видно было солнца на небе. С левой стороны лес уходил вниз, и парню подумалось, что он, вероятно, сделал почти полный круг и, если начнет спускаться, непременно выйдет в долину реки Вислоки, вдоль которой лежали все значимые города и деревни, от Ясла до Пильзна.

Прошло довольно много времени, прежде чем Куба понял, что движется он не к реке. Деревья стояли все гуще, и лиственниц среди них появлялось все больше. Все чаще встречались и скалистые выходы горных пород, покрытые зеленью мха. В полумраке они казались более внушительными и принимали причудливые формы. Долина не расширялась, раздвигая свои края, а сходилась в узком ущелье.

Темнота надвигалась. Куба понятия не имел, где находится, но упрямо брел вперед, потому что лес должен был где-то кончиться, и все овраги вели к какому-нибудь ручью, а все ручьи стекали в итоге в Вислоку.

Все, но, видно, не этот. Уже почти наступила ночь, когда Куба добрался до поросшей мхом и папоротниками котловины. Зеленовато-серые песчаники, окружавшие ее со всех сторон, заканчивались высокими, в несколько ростов человека, обрывами. К котловине вели и другие овраги, по некоторым из них тонкими ручейками стекала вода, собираясь в темном пруду посередине. Тихое, едва слышное стрекотание было единственным звуком в вечерней тишине.

Кубу внезапно стало клонить в сон. Он знал, что в тот вечер ему уже не добраться до человеческого жилья, а это место для ночлега было не хуже любого другого места в лесу. Он нашел ложбинку между корнями упавшего бука, где мох выглядел суше и лежала кучка трухи – а труха, как известно, греет. Некоторое время он наблюдал любопытных птичек-крапивников, суетящихся среди потрескавшихся корней.

Из-под бука внезапно высунулась змеиная голова, и одна из птичек исчезла в раскрытой пасти гада.

Испуганные крапивники вспорхнули и попрятались во всевозможных уголках. Змей обратил к Кубе свои спокойные, злые глаза и проглотил птицу.

– Что ты здесь ищешь, человеческое мясо?

Змей был блестящий, прекрасный и огромный, толщиной с туловище парня. Пятна на его висках играли красками заходящего солнца.

– Не ешь меня, пожалуйста, добрый пан змей, – попросил Куба. Он почувствовал себя странно, потому что произнес эти слова без особой убедительности. Ему было все равно, потому что змеиный живот казался могилой не хуже, чем яма за кладбищенской оградой.

– Хссс! Почему бы мне не съесть тебя? – Змей подполз ближе, совсем близко. Он почти коснулся парня раздвоенным языком.

– Не знаю.

– Ты либо очень смелый, либо очень глупый, хссс.

– Я не смелый, пан змей.

– Оставь его, – отозвался другой змей, еще больше предыдущего, который неожиданно высунулся из-за скал оврага, по которому прибыл Куба. Парень, должно быть, прошел мимо него по дороге и даже не заметил. – Оставь его, или я сожру тебя. Он спас одного из наших детенышей, потерявшихся возле злого источника, там, где невозможно дышать воздухом.

– Это человеческое мясо, хссс, – возразил первый. – Человеческие мяса губят наших детей и не дают им пить молоко из коровьего вымени.

– Это не человеческое мясо, – возразил большой змей.

– Я хочу съесть его сердце. Мне надоели крапивники.

– У меня нет сердца, почтенные змеи.

– У тебя нет сердца? – удивился второй гад и подполз ближе.

Он медленно обвил Кубу своим телом, виток за витком, так что парень не смог даже пошевелить пальцем руки. Тогда с древесных крон сполз третий змей, молодой и худой, и вошел Кубе в рот вместе с головой и хвостом. Парень чувствовал, как гад бродит по его телу, скользит по пищеводу и извивается в кишечнике. Наконец змей выполз так же, как и вполз.

– Он говорит правду, отцы, – заключил молодой гад. – У него нет сердца.

– Ты наверняка проглядел, – заметил первый змей, но второй уже не обращал на это внимания, ослабил витки и посмотрел Кубе в глаза. И парень будто засмотрелся в колодец.

– Что ты сделал со своим сердцем, человеческое мясо?

– Отдал одной девушке.

Вокруг все зашелестело, зашипело. Котловина наполнилась черными гадами всевозможных размеров. Они выползали отовсюду: из мха, из-под корней деревьев, из озера посередине. И все, все смотрели на Кубу с ожиданием, полным внимания.

Огромный змей окончательно освободил Кубу и отполз чуть в сторону.

– Да, такие вещи случаются иногда среди людей, – заключил он, пристально глядя на парня. – Как тебя зовут, человек без сердца?

– Якуб. Якуб Шеля, вельможный пан.

– Наступает ночь. Сегодня ты не успеешь добраться до человеческого жилья, Якуб Шеля, потому что ты далеко зашел в глубь леса. Велика змеиная благодарность за спасение даже самого маленького из наших детей, но мы не сможем обеспечить тебе сегодня сопровождение;

мы ложимся спать раньше, чем люди, и наш сон глубже. Знай также, что ночью в чаще снятся вещи древние и таинственные, опасные даже для змей. Ложись же здесь с нами, ибо мох мягкий, а труха сухая, и питайся водой из нашего источника. Она укрепит тебя не хуже человеческой еды и питья.

Куба был измучен и изнывал от жажды, а желудок у него от голода скручивался в узел. Но он помнил рассказы Старого Мышки о том, что, попав в волшебную страну, в ней не следует ничего есть или пить, ибо там можно остаться навсегда и никогда не найти обратного пути в мир людей.

– Надо думать, тебя там многое ждет, Якуб, – усмехнулся первый змей. Несколько гадов разразились насмешливым хохотом. – И боль, и голод, и могила за оградой кладбища, и черви, и забвение. Воистину, так много того, ради чего стоит вернуться.

Куба почувствовал, что сгорает от стыда, и что горит вдвойне: во-первых, потому что он почувствовал себя голым под взглядом этих спокойных, недобрых глаз, и во-вторых, потому что понимал, что гад был прав, и в мире людей Кубе нечего было ждать.

Поэтому он без колебаний опустился на колени у пруда, погрузил обе руки в темную воду и выпил.

Вода, свинцовая и тяжелая, как ртуть, утоляла жажду и успокаивала голод. Вкуса у нее не было, но после нескольких глотков Куба почувствовал, что опасения и страхи слезают с него, как старые струпья. Осталась только усталость после дневного похода – обычная здоровая усталость.

– Скажи, каково твое желание, друг змей, – отозвался один из гадов, до сих пор молчавший, по-видимому, очень старый, потому что выглядел он высохшим и выцветшим, а пятна за его висками имели цвет паутинных нитей.

– Желание, вельможный пан?

– Велика благодарность нашего племени, и во всем мире ты не найдешь большей, а жизнь даже самого маленького из нас бесценна. Мы, змеи, не забываем. Ни хорошего, ни плохого. Все у нас посчитано, до мельчайшей чешуйки на спине. Итак, скажи, чего ты хочешь больше всего на свете, и мы выполним все до йоты.

Куба вздохнул, потому что его уже очень давно никто не спрашивал, чего он хочет. В первый момент он захотел лепешек на белой муке и простокваше, таких, какие делала его мать, прежде чем отец выгнал его из дому за сожженную хату. Он мог бы есть их и есть до отрыжки, а потом еще немного.

Он уже открывал рот, чтобы произнести желание, но встретил неподвижные глаза старого змея, и тут же желание показалось ему ребяческим и легкомысленным. Ибо как же так – лепешки за спасение жизни? Потому Куба захотел попросить Мальву, но ведь Мальва у него уже когда-то была, а он не смог удержать ее при себе. Она выбрала пана, потому что даже богини и русалки охотнее выбирают шляхтичей, чем простых мужиков.

И тут Куба понял, чего он хочет.

– Я хочу стать паном.

– Паном? – переспросил старый змей.

– Да. Иметь усадьбу и красивую карету, и серых лошадей в упряжке, и саблю, и хлыст, и чтобы Мальва снова стала моей. И чтобы у меня были свои хамы, к которым я был бы добр и милостив, а среди них – эта мразь, Викторин Богуш, чтобы у меня было кем понукать и кого лупить палками, когда мне вздумается, и чтобы он добровольно работал на меня в поле.

Змеи замолчали. Все, сколько их было на поляне, впились в парня взглядом.

– Своей гибели желаешь, – заключил самый большой из змей, тот, что едва помещался в котловине. – По Божьей воле одни рождаются панами, а другие – хамами. Есть в этом, вероятно, цель, и есть в этом мудрость, хотя трудно судить, какая. Ни люди, ни змеи не должны вмешиваться в это.

– Это действительно то, чего ты хочешь? – торжественно спросил старый змей.

– Да, пан змей. Это то, чего я хочу.

– Сказано. Аминь, аминь, аминь, – сказал змеиный старейшина, и Куба вздрогнул, ибо почувствовал, что в этот момент в движение пришли какие-то древние и могучие силы. – Пусть так и будет. Но знай, Якуб, что желание твое велико и нарушает порядок вещей, установленный тем, кто выше змей. Ты не попросил о простых вещах, о земных благах или о девушке. Для того, чтобы твое желание сбылось, нужно иметь сердце. Ибо это глубочайшая из глубин, это мощнейшая крепость в груди каждого человека, где ты встречаешься сам с собой. У кого нет сердца, тот не может встретиться с самим собой. Он не может быть никем, даже самим собой. Когда сердце вновь забьется в твоей груди – тогда, и не раньше, ты станешь паном, и твой нынешний хозяин будет служить тебе.

– Но где мне взять сердце? – Куба снова почувствовал насмешку над собой. С тем же успехом змеи могли бы предложить ему поймать луну в рыбацкую сеть.

Как ему вернуть свое сердце? Мальва, по-видимому, не заботилась о нем, так же как и он не заботился о сердце Ханы. Он сам видел, что происходит с сердцем, о котором никто не заботится. К тому же однажды подаренное сердце нельзя просто так забрать.

– Никто из нас не отдаст тебе своего, – сказал самый большой из змей. – Люди странные существа, они могут обходиться без сердца, но мы не умеем этого делать и умрем в одно мгновение.

– Остается еще Змеиный Король, – заметил старейшина.

– Он мертв, хссс! Он мертв уже тысячи лет, – прошипел первый змей, тот, что хотел съесть Кубу.

– Не мертво то, что в вечности пребудет. Со смертью времени и смерть умрет[14], – задумчиво произнес старший. – Змеиный Король заснул, когда мир был еще молод. Целые столетия прокатились по его спине. Моря приходили и уходили, горы росли и рассыпались в прах, большой лед полз с севера и отступал, а он спал и спал. Наконец он весь оброс холмами Бескид, и чешуя его позолотилась полонинами[15] и посеребрилась буковыми лесами. Змеиный Король, однако, даже не пошевелился во сне и будет спать даже тогда, когда ветер развеет все прекрасные Бескиды в прах, и снова придут льды, и его снова затопят моря. Если только раньше не кончится время и не вспучится солнце, чтобы пожрать землю. Тогда король проснется, чтобы быть свидетелем конца, как некогда был свидетелем начала.

– И ты полагаешь, что место сердца Змеиного Короля – в груди этого молокососа? – рявкнул первый змей.

– Первый встречный не получит сердце Короля, – сказал самый большой змей. – Оно спрятано и охраняется. Если он сумеет его достать, он докажет, что он не такой уж и молокосос.

– Охраняется? – простонал Куба. Не так он представлял себе исполнение желаний. В рассказах Старого Мышки все происходило куда проще, фокус-покус, и желание сбылось. Однако парень уже успел убедиться, что в жизни все идет не так, как представлялось; особенно если ты хам, сын хама и хамский внук. – Кем охраняется?

– Не утруждай себя этим сегодня, – мягко заметил седой змей и подполз ближе. – Нелюдим обо всем тебе расскажет. Просто помни, если ты действительно хочешь найти сердце, не торопись и не ищи славы. Теперь спи и доверься змеиной благодарности.

– Нелюдим? Тот, что из сказки?

Но змей не ответил, он только продолжал ползти, все ближе и ближе, направив на парня взгляд, неподвижный и свинцовый, как пруд посреди котловины. Кубе казалось, что он тонет

[14] Цитата из произведения Г. Ф. Лавкрафта «Зов Ктулху».

[15] Безлесный высокий склон в Карпатских горах, используемый как пастбище.

в этих глазах, как в воде, и не было уже ничего, кроме этих глаз. Сон, безмерно глубокий сон стал накатывать на него.

– Спи.

Парень моргнул и понял, что действительно смотрит на пруд. Мшистая котловина стояла тихая и спокойная, и вокруг не было никаких змей.

Ошеломленный, он отошел от водной глади. Устроился в мягком мху на каменном уступе, много выше дна котловины, на случай, если водоем окажется мофетой или другим зачарованным источником, которых полно в Бескидах. Он заснул, и ему ничего не снилось. Тихая ночь плыла по миру, душистая и необычно теплая, словно это был не ноябрь, а июнь.

Утром все казалось странным сном, какой бывает, если съесть слишком много буковых орешков. Его мучила страшная жажда, но пить из зачарованного источника он опасался, и потребовалось немало времени, чтобы найти в лесу ручей. Он пил и пил; вода была сладкой, а под зубами скрежетали мелкие песчинки. Он пил еще долго после того, как утолил жажду, потому что ничто лучше не обманывает голод, чем вода, а поздней осенью в лесу трудно найти что-нибудь поесть.

– Вовсе нет, – отозвался кто-то за его спиной. Куба резко обернулся и увидел змею, обвившуюся вокруг буковой ветки. – Иди вдоль ручья, и ты дойдешь до терна. Люди не помнят об этом месте, и никто не ходит туда собирать терновник. Когда-то здесь стояла деревня, но давным-давно все умерли от чумы, и даже растущие там деревья слишком молоды, чтобы помнить людей. Если ты хорошо поищешь, то найдешь немало диких яблонь и боярышника. Всю зиму растут в лесу опята и вешенки. Я могу указать тебе места, где зимуют землеройки и полевки. Их мясо сочное и вкусное. Ты не умрешь в лесу с голоду, друг змей.

Куба повернулся к змее спиной. Сплюнул на землю. Он устал от змей и колдовства, воспоминания о них были ему совсем неприятны.

– Вверх по ручью, говоришь? Тогда я пойду вниз.

Так он и сделал, не оглядываясь.

Куба шел не очень долго, солнце еще не успело подняться высоко, когда он выбрался из леса к лежащей в долине деревне, а точнее, к хутору из нескольких покосившихся хижин, крытых по-бедняцки дерном. Где-то скрипнула дверь, залаяла собака; в утреннем воздухе звуки неслись далеко, ясные и чистые. До Кубы долетел запах человеческого жилья: дыма, печеного хлеба, куриного навоза. Все вроде знакомое, но при этом чужое, будто из другого мира.

Потому что на самом деле это был уже не мир Кубы.

Он понюхал еще немного и двинулся обратно в лес. Вверх по течению.

XVIII. О лесе

Сказывают, что буковый лес, берущий свое начало в веселой долине Вислоки, тянется через все Бескиды, а Бескиды простираются до края света, дальше же нет ничего, кроме Черного моря. Лес – это отдельный мир. По нему можно бродить годами, а он кормит и одевает того, кого пожелает. Трудно завоевать доверие Карпатской пущи – она недоверчива и замкнута в себе, а буки все время таращатся на путника глазами-сучками. Трудно – но для змеиного друга открыт любой лес, и особенно тот, что растет на спине Короля, Змея-Отца.

Друг змей легко найдет пищу в Бескидском лесу даже в ноябре, когда лес кажется мертвым, но это обман, потому что соки все еще гудят под корой деревьев. Буковые орехи, которые совсем не вредят, если только не есть их слишком много сразу; опята, безвкусны в сыром виде, но их можно сварить в одном из горячих серных источников; корни дикой моркови и корневища заячьей капусты; мелкие и нервные существа, чье предназначение умереть ночью с писком в клыках и когтях более сильных животных, потому что таков закон леса, – все это тут есть. А когда придут морозы, и лес покроется первым снегом, как раскрошенной облаткой – тогда друг змей может набить брюхо смолой и хвоей лиственницы и закопаться под лесную подстилку в одном из оврагов или в яму под поваленным буком и проспать все мрачное время, пока зима не отступит, а лес вновь не порастет ветреницей.

XIX. О белой тьме

Сказывают, что Куба провел эту зиму в лесу, проспав в яме, как барсук; но есть и такие, которые утверждают совершенно другое.

Это случилось на межсвяточье, то есть во время между польским и русским Рождеством. В Бескидах Бог рождается дважды, один раз для поляков и во второй раз для русинов, а так как в этих краях порой трудно различить, кто есть кто, в некоторых семьях Рождество отмечается дважды. Потому рождественские ярмарки в Ясле и Змигроде продолжаются без малого полмесяца и это одни из самых больших ярмарок во всех горах.

Ксенес Рак жил между Бжостеком и Пильзном, в деревне, название которой он постоянно прокручивал в голове, но никак не мог запомнить, хотя жил там уже девятый год, со дня своей женитьбы на Марьянке Стец. Ксенес, хотя его и приняли в деревне хорошо и по-дружески, тосковал по русской речи. Он с грустью смотрел на юг, на темную гряду гор, и год за годом обещал себе, что на этот раз уже непременно отправится повидать своих на ярмарку. Потому что, в конце концов, это было не так уж и далеко.

– А зачем так далеко ехать? – говорила Марьянка. – Тебе придется отправиться в полночь, чтобы добраться до Ясла на рассвете. Всю ночь проведешь в пути в одну сторону и еще одну ночь – в другую. Снег, мороз. Не лучше ли остаться под периной?

И этого обычно хватало, потому что под периной с Марьянкой бывало довольно приятно, а с годами даже еще приятнее, хотя она была уже старой бабой и приближалась к тридцатой своей весне.

Обычно, но не в этот раз.

Этой зимой снег долго не хотел ложиться. Небо было голубым, как лед, а дороги сухими и проходимыми. Ксенес знал, что лучшей возможности не будет. Он запряг вола в телегу, рядом привязал полугодовалого теленка, а в саму повозку закинул клетку с пятью курами и одним престарелым петухом, корзину яиц и немного пряников, что его баба напекла на рождество; все только для того, чтобы иметь предлог для отъезда на рынок. Увидев это, Марьянка покачала головой, но не сказала дурного слова, потому что знала, что действительно творится у Ксенеса на душе.

– Не напивайся, чтоб тебя никто не обокрал, – только и сказала она. – И возвращайся скорей, не теряй времени в дороге.

Рак напился, едва приехал в город. Может, его ограбили, а может, он просто все пропил, потому что, когда он очнулся поздно вечером, у него не было ни кур, ни петуха, ни теленка, ни яиц, ни пряников и ни одной монеты в кармане.

Уже стемнело, и небо озарилось звездами. Ксенес глубоко вздохнул. В воздухе пахло солью и молодым морозом, как свежим бельем. Какой-то голос в голове говорил русину, что не стоит отправляться так поздно в путь, что лучше подождать до рассвета; но тут же вмешался другой голос, напомнив, что Марьянка будет беспокоиться, а денег у него нет даже на самый захудалый постоялый двор.

Так и двинулся Ксенес к дому, думая только о том, что вместо золотых монет везет головную боль и полную телегу стыда. Шаг за шагом, миля за милей, он направлялся на север, к равнинам, к деревне, точное название которой он запомнить не мог. Человеческое жилье он обходил стороной, хотя в этот час все уже спали и ни в одном окне не горел свет, – возможно, он боялся, что кто-нибудь увидит его телегу и заметит на ней весь этот незримый позор.

Под воловьими копытами хрустела замерзшая грязь. Дорога перед Ксенесом лежала дальняя, и мороз вскоре добрался до его костей и суставов, а во фляжке за пазухой не осталось ни капли сивухи для разогрева. Луна еще не взошла, и тьма висела вокруг густая, как падевый мед. Только звезды сияли высоко в небе. Ксенес направился на Большой Воз.

Имперский тракт из Ясла в Пильзно пролегал по дуге вдоль восточного края долины Вислоки. К самой реке он почти не спускался, потому что весной и в начале лета поднималась вода, разрушая все на своем пути. Всю долину тогда заполнял поток грязи, несущий деревья с корнями и мертвых животных. Но теперь внизу простиралась белая равнина, тихая, как предрассветный сон. В свете звезд она напоминала распростертую на столе праздничную скатерть, накрахмаленную и без малейшей складки.

Поднялся ветер, он принес с собой аромат снега. На небо выползли тучи. Ксенес не раздумывал ни секунды. Он погнал вола вниз, по короткому пути.

Снежный вихрь в предгорьях всегда налетает внезапно. Он таится где-то в котловинах между горами, где кипит и бурлит, а когда пустоши между гор уже не в состоянии его удержать, прокатывается над лесистыми хребтами и обрушивается со всей силой в долины, белый и пенный, как прокисший жур.

Именно такой снежный суп и схлынул на Ксенеса, и тьма стала белой. Русин ненадолго остановил повозку, собираясь переждать метель, но вскоре вокруг телеги стали расти сугробы, и мужик испугался, что его засыпет. Поэтому он ударил пару раз вола кнутом и двинулся в направлении, которое он счел наиболее подходящим.

Мороз щипался и кусался невыносимо. Ксенес хлопал руками и шлепал себя по коленям, натягивал на уши шапку. Это мало помогало. Чтобы согреться, он вылез из повозки и некоторое время шел за нею, по колее, оставленной в свежем снегу. Правда, ему показалось, что вол уводит слишком вправо, – ну он ведь вол, известно, глупая скотина, не то что лошадь, которая в любую погоду сама найдет дорогу домой. Однако держать в хозяйстве коня мало кто мог себе позволить.

Мужик оглянулся назад. Вьюга засыпала следы почти сразу, и невозможно было определить, действительно ли вол свернул, или, может, только так показалось Ксенесу. Русин забрался обратно на козлы, снова хлестнул кнутом – сначала вола, а потом и самого себя, для разогрева и отрезвления от стужи. Лязгая зубами, он принялся сбрасывать с повозки снег, который прибывал на глазах. От этого у Ксенеса намокли рукавицы, а снега даже не убавилось. Поэтому он бросил это занятие и потянул поводья влево, потому что скотина снова пошла в сторону.

– Ну же, старина. Считай, что мы везем не снег, а куриный помет. И то, и то белое, – усмехнулся Ксенес, но тут же замолчал, потому что смех замерз у него в груди в камень. Даже если вол и почувствовал какую-то моральную поддержку, он никак этого не выказал. Он упорно брел через рыхлый снег и работал боками.

Они шли и шли.

Ксенес внезапно очнулся и только тогда понял, что спал. Мокрые рукавицы затвердели от мороза, каждый вдох обжигал огнем в груди. Русина окружал яркий, пляшущий белый мрак. Метель не прекращалась, и Ксенес понятия не имел, как долго он уже бредет по метели. Сон снова стал липнуть к его векам. Мужик испугался, что замерзнет насмерть.

Он сорвался с места и пустился в пляс в телеге. Раз и два, и еще, как ошалелый. Ноги и руки у него совсем онемели, и Ксенесу показалось, что он похож на паяца из кукольного театра. Он знал, что должен двигаться, потому что неподвижность – это смерть. Поэтому он танцевал, и снежная тьма танцевала вместе с ним.

Он перестал обращать внимание, в какую сторону едет телега, потому что все стороны света выглядели одинаково. Бель и чернота, а за ними смерть. А за этой смертью – наверное, ничего. Что там еще может быть? Жаль, что нет водки, подумал про себя Ксенес. С водкой всегда все веселее. Даже умирать.

И тут он заметил, что на спине вола уже образовался толстый белый слой. Он понял, что уже давно не слышал хруста снега под ногами скотины и что у того странно свисает голова.

– Господи Иисусе, Матерь Божья Мария. Нет, старина, нет! – так хотел сказать Ксенес, но все Иисусы и Марии застыли у него в горле, и из посиневших губ вырвался только клубок пара.

Вол, однако, был еще жив, хотя при каждом вдохе он стонал, широкая грудь с трудом вздымалась, а ребра торчали под кожей. Ксенес погладил воловьи ноздри, покрытые инеем. Слезы обжигали мужику веки и тут же застывали на щеках. Он опустился на колени прямо на снег и свесил голову, как только что сделал вол. Сквозь метель он видел всю свою жизнь.

Это была бесплодная и печальная жизнь, как и большинство жизней. Он попытался молиться, но мозг застыл на холоде, а мысли замерзли в голове. Остались только сожаления. Что он не дождался детей, потому что оба они с Марьянкой хотели пока насладиться друг другом; и хотя под периной они занимались всякими делами, они заботились о том, чтобы от этого не появились дети. Что со дня свадьбы он не навещал ни мать, ни братьев и даже не интересовался, живы ли они. Что он умирает глупо и оставляет Марьянку одну, потому что в этом возрасте ее уже никто не захочет, во всяком случае, никто порядочный. Что из-за него сдохнет и вол, сдохнет лишь потому, что он был верен и доверял Ксенсу; и подумал мужик, что такова судьба каждого, кто верен и доверяет людям.

И русин даже не удивился, когда тьма метели сгустилась перед ним, слипшись в фигуру огромную и темную, как гора. И эта фигура шла прямо на него, но с каждым шагом будто уменьшалась и сжималась, а когда встала напротив, оказалась не выше самого Ксенеса. Закутанный в шкуры незнакомец держал в руке кривой и выщербленный нож, а глаза у него были как у змеи.

– Ты смерть? – прошептал мужик беззвучно.

– Я твоя жизнь, – ответил пришелец и невозмутимо вспорол волу живот слева.

Животное застонало, но даже не дрогнуло, потому что животные очень стойки, когда нужно. От вылившихся на снег крови и зеленого содержимого желудка шел пар. Незнакомец жестом приказал ошеломленному Ксенесу залезть внутрь.

Внутри вола было тепло и безопасно, хотя и тесно. Скотина собрала все силы и двинулась вперед. Русин один раз только глянул сквозь рану в боку животного: снаружи вьюга по-прежнему бушевала, но вол терпеливо и упорно шел, ведомый за уздечку незнакомцем.

Ксенес свернулся калачиком, спрятал голову под диафрагму и, успокоенный медленным, мерным биением бычьего сердца, уснул.

В тот вечер Марьяна Рак одна в хижине ждала возвращения своего глупого мужа. Ее пальцы блуждали по бусинам четок, и она даже не знала, о чем она молится: то ли о скорейшем возвращении мужа, то ли, скорее, о том, чтобы он проявил благоразумие и переждал пургу в каком-нибудь кабаке, пусть бы даже он при этом и напился по-мужицки и протрезвел только на третий день.

Она сидела, закутанная в три тулупа, и щелкала зубами: по полу дул такой сильный ветер, что ей пришлось затушить печь, потому что из дымохода в комнату летели клочья сажи, большие, как сухие листья. Марьянка иногда заглядывала в окно, но ничего не видела за ним. Не было видно даже соседней хаты, а ведь она стояла не дальше полусотни шагов. За окном заканчивался мир, дальше клубилась бесконечная бель.

Кажется, наступило утро, потому что метель немного просветлела, но не прекратилась. Марьянка грела жур на масляной горелке – на медленном огне, чтобы не расходовать слишком много масла, – когда заметила краем глаза, как за окном белая стена в одном месте как бы вспучилась, и из нее появилась тень. И эта тень, поначалу бесформенная, превратилась вдруг в повозку с запряженным в нее волом. Вола же вел человек, так обсыпанный снегом, что более походил на слепленного детьми снеговика.

Марьянка распахнула дверь прежде, чем раздался стук.

– Матерь Божья, Ксенес!

А это не был ни Ксенес, ни Матерь Божья. Незнакомец оказался невысоким, худым, как крыса, с мордой, красной от мороза и ветра, как у черта из вертепа.

– Кто вы? – Марьянка в одно мгновение вспомнила рассказы о разбойниках, бескидниках[16] и дворовой челяди. Она отступила вглубь сеней и схватила валек для стирки, чтобы шарахнуть им незнакомца по голове.

– Оставьте, – сказал тот утомленным голосом. – Не бойтесь, баба. Я Якуб Шеля. Я никому не причиню вреда.

– Чего вы хотите?

Но пришелец достал из-за пояса кривой нож и ударил в пах стоящего позади вола. Марьянка испуганно вскрикнула, и из распоротого живота выпал Ксенес, весь в кровавой слизи.

– Ваш это мужик? – спросил незнакомец. Ошеломленная женщина кивнула. – Тогда беритесь за работу, потому что он всю дорогу провалялся в бычьем животе, а я мерз. У вас найдется теплый суп?

Так Якуб Шеля спас жизнь Ксенеса и два дня ночевал в его хате, пока не прошла метель. Потом он ушел, и его не видели до поры до времени. А каждому, кто сомневался в правдивости рассказа, Раки показывали два шрама на боку вола, розовые и тонкие, как от пореза ножом.

[16] Карпатские разбойники.

XX. Об одном колядовании

Сказывают, что Рак болтает сущую чепуху, потому что он сказочный брехун. В тот год не было таких метелей, и вероятно, не снег затуманил его память, а водка. Потому сказывают, что той зимой, когда Якуб оставил службу в корчме, он присоединился к бескидникам.

А дело было так.

Когда уже прошло Рождество, а до Нового года оставалось еще несколько дней, наступило время для колядования. Колядники должны являться неожиданно в сумерках, чтобы застать домочадцев за обычными занятиями. И конечно, как обычно, все в деревне знали, когда они будут ходить.

Знала об этом и Мацейка Любаш. Специально для этого случая она испекла пирог со сладкими вялеными сливами. Ведь среди колядников в этом году должны были появиться близнецы Полдек и Игнась Фоксы: один в облике ангела со звездой, а другой – в наряде черта. Оба они были прекрасны, как ангелы, и соблазнительны, как черти. А нет такого хлопца, что не любил бы вяленых слив, – так говорила Сальча Неверовская из соседней деревни.

О Сальче болтали всякое, но в основном, что она потаскушка. Стало быть, она точно лучше всех разбиралась в парнях. Сальча рассказывала – но шепотом и на ушко, потому что именно так говорят о блудливых делах, – что девки, когда их целуют там, внизу, тоже имеют вкус вяленых слив, и потому перед этим вкусом не устоит ни один парень. Мацейка краснела от одной этой мысли, но однажды ночью, мечтая о братьях Фоксах – о каждом в отдельности и обоих сразу, она попробовала свои собственные соки. На вкус они были странные, немного соленые и немного похожие на незрелое яблоко, и, конечно, в них не было ни намека на сливу. Но кто знает, может быть, у парней другие вкусы.

Так вот, про этих колядников вроде бы никто ничего не знал, но знали при этом все. Говорили, что в этом году все будет не так, как раньше, потому что старые ряженые поизносились, у них стреляло в пояснице, а кое-кто уже и пить не мог – а что это за колядник, что не может опрокинуть одним духом стакан домашнего самогона? Тогда разрешили нарядиться молодым, кому было не больше двадцати пяти зим, и те пообещали колядки, каких в деревне не видывали. Позвали даже гусляра из соседней деревни, ладного Йонтека Гаца, и волынщика, имени которого Мацейка не запомнила. А значит, Коляда в этом году должна быть с настоящей музыкой!

Тогда никто не знал, чего ожидать, кроме того, что готовилось нечто особенное.

Семья Любашей была уверена, что колядование начнется с их хаты, как это всегда бывало. Их дом стоял на восточной окраине деревни, и с этой стороны следовало начинать колядовать, ибо на востоке просыпается солнце и встает луна, и все звезды движутся с востока на запад. В этой стороне мира Господь Бог сошел на землю, умер и воскрес из мертвых. С востока приходит лад и порядок в мире, с востока идет свет и надежда. Никто еще не слышал, чтобы что-то хорошее приходило с запада.

Поэтому Любаши не удивились, когда снаружи заржали кони и раздался стук в дверь. Старый Любаш, отец Мацейки, как раз разбавлял фруктовый самогон горячей водой с медом, с добавлением лимонного сока и цедры. За лимонами он специально ездил в Ясло на ярмарку, самую длинную в году, которая начиналась на польское Рождество, а заканчивалась на русское. Услышав стук в дверь, все сестры Любаш, а их было пять, завизжали от восторга. Отец быстро разлил напиток по воскресным стопкам, раскрашенным в васильки, и, держа по одной в каждой руке, помчался со всех ног в сени.

В хату без приглашения ввалились шесть мужиков в засыпанных снегом тулупах, отороченных куньим мехом. Воротники у них стояли так высоко, а шапки были натянуты так низко, что из-под них едва можно было разглядеть посиневшие на морозе носы и покрытые инеем

усы. Тот, кто вошел первым, выхватил из рук Любаша стопки, одну опрокинул сам, а вторую протянул товарищу.

– Хороша водка, мужики, – буркнул он. – Заходим.

Вскоре все шестеро уселись в комнате за стол. Тулупы они не сняли, только шапки отряхнули от снега. Любаш с женой и их дочери стояли огорошенные и наблюдали, как заезжие гости заняли все лавки.

– Чего вылупились? Наливайте всем, пойло отменное, а мы замерзли в дороге. Ну, веселей.

Старый Любаш без слов принялся разливать угощенье, а Мацейка обвела взглядом усатые лица незнакомцев. Ни один из них не походил ни на Полдека Фокса, ни на его брата Игнася, ни даже на гусляра Йонтека Гацу.

Крошечная Розалька, самая младшая из всего Любашева девчачьего выводка, единственная не испугалась незнакомцев. Рассмеявшись, она подошла к одному из мужчин и потянула за висячий ус. Незнакомец фыркнул и ударил девочку в лицо, так что та отлетела к печи и пронзительно завизжала. Любашиха гневно двинулась на разбойников: ведь как же так, детей только собственный отец может бить.

– Постой, старая, – буркнул Любаш и наполнил стопку еще одному из верзил – вероятно, самому младшему, судя по коротким усам. – Ну, Собек, как тебе там в усадьбе живется? Скажи что-нибудь.

И только тогда Мацейка узнала в самом молодом госте пухлого Собека Кульпу, над которым вся молодежь в деревне немного посмеивалась, потому что с детства был он настоящим олухом. Собек в прошлом году отправился служить в седлисскую усадьбу, хотя никто до конца не знал, в чем эта служба состояла. Ну, теперь уже было понятно.

Собек покраснел, отхлебнул из стопки и тут же получил внушительный пинок в бок от товарища, который, по-видимому, был главарем.

– Ты чего, не слышишь? Тебя хозяин спрашивает. Не будь дикарем, говори, как тебе живется в усадьбе.

– Лучше, чем в родной хате, – выдавил из себя Собек.

Остальные пятеро захохотали.

– Ну, теперь скажи хозяину, зачем мы приехали.

– Но Мыхайло, ну как же… Давай, ты скажешь.

– Говори, мать твою, пока я добрый. – Мыхайло, главарь, что служил при дворе помещика управляющим, достал нож и с размаху воткнул его в стол, да так и оставил его стоять, слегка подрагивающим.

– За припасами мы пришли, – сказал Собек грубым голосом, но в лицо никому из Любашей не смотрел. – За зерном, калачами и медом.

– И за?.. – подсказал Мыхайло.

– И за девками для утех.

– И побольше, и побыстрее, а то мы всю хату спалим! – рявкнул один из дворовых.

– Заткнись, Морцин. Ты так спешишь обратно в поле? Здесь тепло и уютно. – Мыхайло обвел Любашей спокойным, недобрым взглядом. – Двор не табор, а пан не цыган. Не уйдут они никуда. А здесь люди добрые и наших лошадок приютят, и ужин подадут. Я прав, любезный хозяин?

Старик Любаш помолчал немного, потом сказал жене:

– Подай суп, баба.

Мыхайло жестом отослал Морцина к лошадям, а сам до краев наложил себе в миску густой капусты. Вскоре все шестеро ели, пили и пели песни, от которых Любашевы девки могли бы покраснеть, как яблоки, если б не были так бледны от страха. Это продолжалось долго,

в комнате установилась сырая духота, а на оконной пленке осели капельки. Дворовые сняли тулупы и теплые поддевки и сидели в одних только выпущенных поверх портков рубахах.

И тут дверь снова распахнулась, и в сенях появилась веселая братия. Ангел и Дьявол, Ирод и Смерть, и Звезда, и Козел, и музыка: гусли, волынка и бас.

Как во Смажовой мороз
Подмораживает нос.
Эй, Коляда! Эй, Коляда!

Они вошли в комнату и тут же умолкли, увидев мрачных разбойников.

– Чего, языки проглотили? «Радуйся, Мария!». Ну… А потом: «Нынче Ангел к нам спустился. Он пропел: „Иисус родился». Эй, Коляда!» Вот так надо, колядники, вашу мать. А теперь пойте, сволочи, а то я вас как уток перестреляю.

И чтобы показать, что не шутит, Мыхайло положил перед собой «перечницу» – шестиствольный пистолет. Не все колядники знали, что это такое, но старый Любаш знал наверняка, ведь он когда-то, во времена войн с Наполеоном, служил в австрийской армии, а потому сам начал драть горло:

Мы пришли с большим мешком
Поздравлять всех с Рождеством.
Эй, Коляда!

– Не пой, хозяин. Ты не петух, чего раскукарекался! – взревел верзила Морцин. – Эй, колядники, сыграйте что-нибудь повеселее, а то вы смурные какие-то.

И они запели.

Это Козлик наш убогий,
Позолоченные ноги.
Пусть поскачет он немножко,
Позолоченные рожки.

Детины пили, смеялись и хлопали, ревели хриплыми от водки голосами: «К дому, Козлик, отправляйся, под ногами не мешайся». Гусляр Йонтек рассекал смычком от уха, словно пытался распилить струны из бараньих кишок. Черт, то есть измазанный копотью Игнась Фокс, осторожно подпрыгивал, выделывая ногами робкие кренделя, потому что дворовые были разбойниками высшей пробы, при встрече с такими даже черт смылся бы с поджатым хвостом.

Черт подтанцовывал, а в доме нарастал ужас.

Наконец Мыхайлу это наскучило, и он пальнул из перечницы в потолок. Посыпалась известка, сестры завизжали, а Розалька закашлялась от пыли.

– Ладно, черт. Садись тут с нами и глотни чего-нибудь, а то утомился. Теперь ангел будет отплясывать. – Ну чего ты, Ангел, удивляешься? Давай. В пляс так в пляс. Раз-раз.

В пляс так в пляс. Полдек Фокс при первом подскоке погнул ореол, при втором поломал соломенные крылья, а третий сделать уже не смог, потому что споткнулся о ногу, подставленную Морцином. Мыхайло выхватил из рук дьявола вилы и вогнал их Ангелу в зад. Полдек взвыл, и дворовые заревели.

– Ангела подбили! Вот так охота! – обрадовался Морцин, а другой разбойник протрубил в сложенные ладони охотничий сигнал и запел:

Глянь-ка, ангел побежал. Ой, товарищ мой!

Псов спусти-ка с поводка, пусть намнут ему бока.
Ой, товарищ мой!

И не успел Ангел опомниться, как он уже висел на балке под потолком, связанный пеньковым канатом. Любашиха заохала и заголосила, но Мыхайло отвесил ей пощечину, и та замолчала. Ангел тем временем верещал и матерился во всю глотку, и главарю дворовых пришлось снова выстрелить из «перечницы», чтобы утихомирить его.

– Заткни свою пасть. Ребенок здесь и бабы, все слушают. Вроде Ангел, а богохульствует, как сам Люцифер. – Он обвел взглядом Любашей, колядников, всех. – Чего вы такие хмурые? Это Коляда, а не похороны!

Колядникам не оставили выбора. От них потребовали, как и в прошлые годы, разыграть пьесу о царе Ироде, Дьяволе и Смерти. Они разыграли ее без веселья, шуточки всей троицы не были смешными, а рифмы хромали. Все потому, что Ирод в этом году должен был быть вовсе не Иродом, а помещиком Богушем из седлисской усадьбы. У парня из Каменки, игравшего эту роль, были приклеенные усы, шапка из кошачьих шкурок, имитирующих соболя, а брюхо же было перевязано цветным шарфом, как поясом от жупана, поскольку ясновельможный Викторин любили красоваться в традиционном польском наряде. Смерть кружила вокруг Ирода, снова и снова пиная его косой в зад, и дворовые едва не описались от веселья. И только одному Мыхайло было не до смеха.

– Все! Кончайте! – рявкнул он вдруг и дал мощную оплеуху Собеку, который ржал громче всех. – И чего тебе так смешно, болван? Над нашим паном-благодетелем смеются.

– Но это ж Ирод… – пробормотал Собек, не понимая, что он опять не так сделал.

– Ирод-шмирод. Даже короны нет, только меховая шапка. Ни дать ни взять, пан Викторин. – И сказав это, Мыхайло подскочил к колядникам, вырвал у Смерти косу, приставил ее к горлу Ирода-Викторина и нажал, не слишком сильно, но до крови. Коса есть коса, пусть даже тупая. – И чего тебе так весело? Посмейся сейчас. Ну, давай. Ха-ха. Почему ты не смеешься?

Парень лихорадочно кидал во все стороны взгляды и боялся даже проглотить слюну. Он шевелил губами, как карп. Мыхайло опустил косу.

– Повесьте этого под потолком вместе с Ангелом. Может, там он развеселится, а то этот Ирод – не Ирод чего-то потерял дар речи.

Когда царь уже висел у потолка, разбойник велел Любашу налить еще по стопке лимонного напитка, а своим подельникам собрать в амбаре зерно, залитые жиром колбасы и лакомства, прежде всего вяленые сливы и рождественские пряники.

– Ну, пост в этом году вы начнете чуть раньше, а пепельную среду[17] можете устроить себе прямо на этой неделе, – буркнул он, откусывая пирог.

– Мыхайло, а как насчет перепиха? – дворовый Морцин схватил Мацейку за грудь и смял ее большой лапой. Девушка застыла, скованная страхом, как злым колдовством. – Пироги с пирогами, а мы за девками сюда приехали.

– В усадьбе, Морцин, в усадьбе. Вельможный пан позабавится, и нам от этого медка чуток достанется.

– А если только одну… никто не узнает.

– Ступай и своей лапой облегчи себе мошну, коли у тебя яйца чешутся.

– Сжальтесь, добрые господа! – Любашиха припала к ногам Мыхайлы и принялась целовать его сапожища. – Дочерей моих чести не лишайте! Муку отдам, мясо отдам, все припасы отдам, даже кур добавлю и телочку этого года…

– Ты что, старуха, с ума сошла? Телки нет! – буркнул Любаш.

[17] День начала Великого поста у католиков.

– Не боитесь, мать, младшую девку мы вам оставим. – Мыхайло кивнул на маленькую Розальку. – Зеленые яблоки не по вкусу вельможному пану.

Любашиха завыла что есть мочи, и главарь дворовых со всей силы ударил ее по лицу. Баба покатилась по полу и скорчилась под лавкой, глотая слезы, огромные, как фасолины.

Мыхайло сказал:

– Ну, в путь. Девки, одевайтесь, и тепло, потому что в поле вьюга. Живо. Благодарствую, хозяин, за гостеприимство. И благослови вас Господь, колядники, за радостное представление. Морцин, брось монету жиду в шапку. Или нет, брось две. Пусть знают колядники, что мы не какие-нибудь там хамы. Может, когда и к нам в усадьбу с колядками заглянут. Особенно Ирод.

Морцин полез в кошель, но остановился и затупил, потому что среди колядников не было жида, а по обычаю именно жид собирал по окончании колядования деньги в шляпу или в ермолку.

– Жида нет, Мыхайло.

– Как это, мать твою, нет? – Ноздри дворового опасно заиграли, и он крепче сжал в руке косу. – Где жид, спрашиваю?

– Н-не было у нас жида, – набрался наконец смелости Игнась Фокс, Черт.

– У них не было жида, – задумчиво повторил Мыхайло, смерив Игнася взглядом.

– Не было, добрый пан.

Мыхайло подпрыгнул, как припадочный, размахнулся и ударил Игнася в лицо черенком от косы, разбив ему нос. Колядник полетел к стене, но дворовый успел подскочить и подрезать ему ноги, после чего принялся безжалостно пинать лежащего парня.

– Идиота из меня делаешь, сукин сын? – прошипел он. – Говори, кто был вашим жидом и где он живет?!

– У нас не было…

Мыхайло яростно взревел и принялся наотмашь бить Игнася черенком. Парень выл и корчился под стеной, прикрывая руками то голову, то шею, то почки, а Мыхайло все колотил и колотил.

Мацейка, не в силах на это смотреть, выпалила вдруг:

– Ясек Бурмуц должен был быть жидом, но, видно, сбежал, как только вас увидел. Только не бейте больше, не бейте, как же так?!

Запыхавшийся Мыхайло на мгновение прервал избиение Игнася.

– Где живет этот Бурмуц? – прорычал он.

– Возле часовни со Святым Семейством. Там, где растет старая липа.

– Мацейка!.. – простонал Игнась, потому что все в деревне знали, что Ясек Бурмуц хаживал некогда на разбой, а в его хате зимними вечерами собирались бескидники поиграть в карты, попить сливовицу и потравить байки. Это были добрые разбойники, потому что они не нападали на хамов, а только на польских панов, чиновников и жидов.

Мыхайло взял Мацейку за подбородок и пристально посмотрел ей в лицо.

– Ты красивая, – сказал он. – И не дура. Этого сукина сына, Черта, связать и подвесить рядом с Ангелом и Иродом. Доброго хозяина с бабой и девчонкой заприте в чулан; они нас хорошо угостили, так что мы не будем их сильно обижать. Девок мы берем с собой, и музыкантов тоже, чтобы нам было веселее в дороге.

– А с ними что? – Морцин указал на Смерть и Козла, который звался Туронем.

– А этих свяжи – и в навоз. Не надо топить их до смерти, если только сам не захочешь. Только давай быстрее, а то нам еще палить хату этого самого Бурмуца. Я не хочу, чтоб нам по дороге на голову свалилась целая ватага хамов. Пусть все знают, что с вельможным паном шутки плохи.

Они уже собирались уезжать, когда Мыхайло встал на пороге хаты и беспокойно огляделся. Ночь залегла глубокая и белая от вьюги. На дюжину шагов мало что было видно, так и

сыпало мелким, колючим снегом, и эта черная бель расползалась вокруг непроглядной, густой кашей. Дворовый втянул носом воздух. Он вынюхивал. Эта ночь ему не нравилась. От нее пахло ржавчиной.

– Собек, ты едешь первым.

– Я?

– Нет, сука, Кайзер. Здесь есть другой Собек?

И Собек Кульпа взобрался на коня и слегка ударил его пятками. Животное фыркнуло и нехотя двинулось в метель. Молодой дворовый едва проехал пару шагов и остановился.

– Мыхайло, тут что-то есть, в этой метели.

– Чего?

– Не знаю, но оно шипит. Как змея.

– Дурак, сейчас змей нет. Все они спят под землей.

– Мыхайло…

– Езжай, езжай. Я буду за тобой.

И Собек исчез в снежном вихре, но Мыхайло не успел сделать и полушага. Заржал конь, кто-то крикнул раз и другой – невозможно было понять, близко или далеко, потому что в метели звуки блуждают и путаются. В темноте что-то закрутилось и сдвинулось, а потом внезапно на границе льющегося с порога света появилось несколько темных фигур.

Одна из них крепко держала Собека с приставленным к горлу кривым ножом. Мыхайло мгновенно схватил стоявшую рядом Мацейку, прикрылся ее телом и приставил к ее голове шестиствольную перечницу.

– Прячьтесь в дом – рявкнул он своим подельникам. – И ни гу-гу.

– Доброго здоровьица! – раздался голос одной из теней.

– Да пошел ты на хрен, крыса! – ответил Мыхайло.

– У-у-у. А разве добрым христианам можно так отвечать?

– С разбойниками я не разговариваю.

– Видишь ли, а нам иногда приходится. Хотя бы сейчас.

– Отпусти парня и дай нам проехать, а то я башку девке вышибу. – Мыхайло потряс пистолетом. Мацейка застонала и пошатнулась, мягкая в коленях, как пьяная.

– Полно, полно, любезный дворовый. Сначала отдайте хозяевам то, что вы награбили, и выходите все во двор, сколько вас там есть. Оружие оставьте на пороге, а сами раздевайтесь до пояса, чтобы мы могли наказать вас. Наказание будет не слишком суровым – каждому по двадцать пять палок. А когда вернетесь в седлисскую усадьбу, в это подлое гнездо мерзавцев, не забудьте сказать, что это бескидники доброго Якуба Шели так обласкали ваши спины и что то же самое они скоро проделают с ясновельможным паном.

– Хватит болтать, освободи дорогу.

– У нас ваш парень.

– Ни хрена у вас нет.

Глухо щелкнуло, словно в лесу от мороза треснула буковая ветка, и голова Собека Кульпы разлетелась в кровавые клочья. Кто-то вскрикнул. Кто-то выругался.

– Подойдете ближе, и девка будет следующей.

Бескидники заколебались и отступили за пределы света. Дворовые в сенях затаили дыхание.

– Мыхайло, – прошептал Морцин. – Зачем ты так с нашим…

– Он никогда не был нашим. Таким нельзя доверять.

– Тронете кого-нибудь, и никто из вас не уйдет живым, – крикнул кто-то из бескидников.

– Ишь ты, разлаялся, пес паршивый. Только высуньте носы из тьмы, и мы уничтожим здесь всех до единого. И колядников, и девок, и добрых хозяев на десерт.

– Вы не уйдете отсюда. Мы будем сидеть всю ночь.

– Как и мы. Только мы в тепле.

Бескидники замолчали, словно их и не было. Мыхайло втолкнул Мацейку в сени и запер. Он дополнительно подпер дверь длинной жердью, потому что засов был довольно паршивым. В те времена в деревнях не было других воров, кроме дворовых, но никакой засов не поможет от разбойника, за которым стоит закон.

– Следи за выходом, Хвощ, – рявкнул дворовый главарь одному из своих подручных. Хвощ, толстый и тупой разбойник, имени которого никто не помнил, расселся в сенях, где принялся выскабливать лысину длинным ножом. Главарь банды снова уселся за стол и постучал пальцем по пустой оловянной кружке. Старый Любаш послушно налил самогон до самого края. – Давай выпьем еще. Водка проясняет мысли.

– Ты, Мыхайло, а что с ними делать будем? – Морцин указал на висящих у потолка Ангела, Ирода и Дьявола.

Первый стонал и хрипел, непрестанно вертясь, а двое других, кажется, потеряли сознание, потому что не шевелились вовсе. Мыхайло пожал плечами.

– А это наше дело? Пущай себе висят.

Минуты текли в тишине. Дворовые уже не смеялись и не пели. Любаши и колядники тревожно поглядывали на них. И никто даже не дрогнул, хотя их было больше, чем разбойников, а музыканты так и вовсе не были калеками и на субботних танцах первыми рвались в драку.

Миновала полночь, когда маленькая Розалька, которую укачивала Мацейка, вдруг разрыдалась. Не помогало ни поглаживание по голове, ни тихие слова, что шептала старшая сестра. Как будто кто-то отвинтил в девочке краник со слезами.

– Заткни этого ублюдка, а то я ей башку отрежу! – неожиданно рявкнул Морцин.

Розалька в ответ разревелась еще громче. Она рыдала и рыдала, и казалось, что от этого плача она вот-вот расколется пополам.

– Хвост себе отрежь, баран, – усталым голосом произнес Мыхайло.

Потом что-то захрипело, по-медвежьи зарычало, и это была не Розалька. В комнату ввалился Хвощ, согнутый пополам и с зеленой мордой.

– Змея! Змея меня укусила!

– Одурели вы все с этими змеями?! – не удержался Мыхайло. – Зима, сука! Нет змей!

Хвощ в ответ упал на колени, и его вывернуло наизнанку всем содержимым желудка.

– Мыхайло, я знаю… – выдохнул он наконец, вытирая усы рукавом. – Но в сенях и правда была змея. Она выползла непонятно откуда… и укусила, когда я пытался ее раздавить.

Лысый дворовый задрал рукав. На предплечье были видны две кровавые дырочки, одна возле другой. Мыхайло некоторое время рассматривал их, потом велел Мацейке промыть рану, а сам принялся рвать простыню на жгуты.

– Я умру, Мыхайло. – Хвоща трясло от озноба. – Я умру, да? Собек тоже слышал змею. Мы все умрем здесь.

– Заткнись, болван. Тварь, видать, осенью приползла в сени, к теплу, и спряталась в какой-то дырке, а теперь вылезла, потому что гвалт начался. Дай мне руку. – Жгутами из полотна он обвязал руку Хвоща выше локтя, надрезал ножом кожу между ранок, высосал кровь и сплюнул на землю. Напоследок он облил рану товарища водкой, чтобы кровь слишком быстро не свернулась. – Ну, пусть очищается. Ты не умрешь. – Глотни сейчас.

Хвощ, как клещ, присосался к кувшину. Он пил, пил и пил, потому что сушило его жестоко.

Дворовые в это время искали змею по всей хате. Отодвигали кровати и лавки, заглядывали за печь и под сложенные в чулане мешки с зерном и мукой, оставленные хозяевам, – дворовые же не бандиты какие-нибудь, вельможный пан послали их только за тем, что ему полагалось. Так или иначе, надо было убить гада.

Внезапно Хвощ стал задыхаться, изогнулся, как заспанный кошак, и упал. Его подкинуло еще раза два, как это случается с одержимыми духами. И скончался.

– Господи Иисусе, покойник! – простонала Любашиха. Дочки пустились в рев.

– Ты и ты. – Мыхайло указал на Йонтека и волынщика. – Вынесите его в сени, пусть пока там лежит.

– Но как это, добрый пан? – Хозяйка испуганно подняла руки. – Он жеж встанет! Его ж надо на застланную лавку уложить, окна сукном задернуть – ведь коли смерть в них заглянет, то в хате останется…

– Кладите его куда хотите, но окна не закрывайте. Я хочу видеть, не крадутся ли бескидники.

Любашиха принялась плакать и скулить от страха: что труп, что смерть, что эти разбойничьи колядки только несчастье принесли. Хорошо, что хоть маленькая Розалька наконец, измученная, уснула в объятиях одной из сестер.

– Хватит, баба. Я сказал.

– Мыхайло. – Морцин в тревоге коснулся плеча главаря. – Давай сделаем, как она говорит. У Рубина Колькопфа в этом году одна девка шею свернула. Что-то там они после ее смерти недоглядели, и она потом еще несколько месяцев ходила и пугала.

– Брехня! Не могла жидовка пугать, потому что у жидов нет души, – проворчал Мыхайло.

Однако в итоге он все же разрешил Любашихе заняться телом по-своему.

Хвоща уложили на застланную свежей простыней лавку, глаза его прикрыли серебром, у головы зажгли громовую свечу, а окна занавесили кусками полотна. Хозяйка приготовилась омыть труп святой водой и даже потянулась за оловянным кувшином с крышкой, в котором держала ее, ибо где ж это видано, чтобы христианский дом был без святой воды. За это Мыхайло ее облаял. Когда же старуха заунывным голосом запела: «Добрый Иисусе, Господи наш», главарь приказал ей заткнуть рот.

– Но он встанет, если мы не оплачем его. Разбойник – он и есть разбойник, после смерти бродить начнет.

– Я тебе дам разбойника. Заткнись, добрая женщина, а то сейчас будешь лежать рядом с ним.

Тем временем проснулась маленькая Розалька.

– Ой, а что это с дядей? – Она указала пальцем на тело Хвоща. – Он что, померел?

– Он не помер, он только напился и спит. – Мацейка крепко обняла сестренку.

– Померел, померел, – озлобленно пропищал Мыхайло, передразнивая тонкий детский голосок. – Сдох, как собака. Чего вы, хамы, ребенку врете.

– Ага, – деловито кивнула Розалька и тут же затянула писклявым голосом: – Доообрый Иисусе, Господи наш…

– Сука! Морцин, иди глянь на улицу, не крадутся ли разбойники.

– Мыхайло, но там змея, в сенях… Мы ее все-таки еще не убили.

– Хорошо, оставайся здесь, раз зассал. С бабами, где твое место. Я сам пойду.

Мыхайло вышел из дома, остановился прямо за порогом. Метель утихла, мир затянулся мраком. Тишина.

– Я вижу вас, сукины дети! – крикнул он, хотя на самом деле никого не видел. – Убирайтесь отсюда, а то башку прострелю!

Зимняя ночь не ответила. Мыхайло сплюнул, крепко сжал в руке перечницу и отошел отлить за угол. Он вздрогнул, потому что ему показалось, что кто-то сидит, прислонившись к стене, и ждет его. В полумраке он узнал безголовое тело Собека Кульпы, оставленное здесь, скорее всего, бескидниками. Он облегченно вздохнул.

– Не сердись, Собек, – пробормотал Мыхайло и пописал рядом с замерзшим трупом. Моча выжигала дыры в снегу. – Это была не твоя работа. Ой, нет.

Затем из недр хижины донесся рев, крики, визг девиц, плач ребенка. Мыхайло хмыкнул, поправил портки и помчался обратно. Едва миновав угол, он увидел темные фигуры бескидских разбойников, которые спрыгивали с крыши и вваливались один за другим в сени. Их было, может, с полдюжины.

Эх, мы весело поем,
Богу славу воздаем,
Эй, коляда, коляда!

Разбойники запели, и Мыхайло двинулся за ними бесшумно, как лиса, что пробирается в курятник. Из пенька у дровяного сарая он вырвал топор и взвесил его в руке. Да, это был хороший топор. В хате он пригодится больше, чем ствол.

Мыхайло бесшумно скользнул в сени. Излишняя осторожность – в доме уже началась такая свалка, что никто не обратил бы на него внимания. Дворовые не сдавались, хотя бескидников было больше.

Мыхайло уже собирался запрыгнуть в хату и снести кому-нибудь голову, когда из-под порога, словно черная молния, вырвалась змея. Она подняла отливающее железом тело почти на высоту глаз Мыхайла и яростно, по-кошачьи, зашипела. Желтые пятна на висках рептилии блестели в полумраке. Дворовый отступил на шаг, но тут же понял, что это не гадюка, а полоз, хотя и довольно крупных размеров; а полозы ведь не ядовиты и не кусаются. Тогда он замахнулся топором, чтобы вонзить лезвие в голову рептилии.

Змей плавно уклонился от удара и укусил Мыхайла в икру. И исчез. Может, он спрятался в каком-то темном закутке? Или же растворился в воздухе.

Несколько страшных мгновений Мыхайло пребывал в неподвижности. Сначала боль была невелика – не больше, чем от укола иглой. Но с каждым мгновением она становилась все сильнее, и жгучий огонь от укуса распространялся по ноге. Дворовый захрипел и, не обращая внимания на зарубленных за стеной подельников, убежал в конюшню.

Усадебных гнедых коней не было. Разбойники, по-видимому, либо украли их, либо отпустили. Мыхайло забрался без седла на лошадь Любаша и ударил ее пятками в пах, но животное оказалось не то упрямым, как осел, не то мудрым, как библейский патриарх, и не думало выходить на мороз. Управляющий выругался себе под нос, схватил висевшую на гвозде масляную лампу, кожаным ремнем туго обвязал выше колена укушенную ногу и выбежал во двор.

Деревня спала, окутанная ночью. Настал тот час, когда сны снятся самые глубокие, зарытые под теплыми перинами. Ни в одной из соседних хат не горел свет. Мыхайло бегал от дома к дому, стучал в двери и орал:

– Откройте! Именем ясновельможного пана, откройте!

И каждый раз ему отвечала напряженная тишина. Он хорошо знал, что крестьяне не спят, – ведь он бился так, как бился бы о крышку гроба похороненный заживо.

Он хорошо знал, что никто не откроет.

После одной из хат ему стало плохо, и он едва не упал. Он с трудом добрался до ближайшего сарая и повалился на кучу соломы. Там он закатал штанину брюк.

Нога выглядела очень нехорошо. Вся икра опухла и имела синеватый цвет, а от следа укуса вверх ползла красная полоска.

Мыхайло с невероятным спокойствием взвесил в руке топор. Жаль, что нет водки, подумал он. Некоторые вещи нужно делать только в пьяном виде. Но у него не было ни капли. Ну, что поделаешь.

Он замахнулся и со всей силы рубанул топором по колену.

Боль расколола Мыхайла пополам. И на четвертины. В мелкую крошку. Топор вошел глубоко, перебил кость, и вырвать его было трудно. Дворовому, однако, как-то удалось это

сделать, и он ударил еще раз. И снова. И снова. Быстро, еще быстрее. Успеть до того, как боль накроет его голову огненным саваном. До того, как голова поймет, что происходит, потому что тогда все будет напрасно – тогда голова испугается, и ничего не получится.

Даже крови было немного.

Мыхайло умирал с каждым ударом. Нога упрямо цеплялась за тело. Он уже знал, что не сможет.

– Дай, я помогу тебе, – сказал Хвощ.

Мыхайло посмотрел на него недоуменным взглядом.

– Ты умер.

– Э, нет. Я напился и спал.

Хвощ схватил обеими руками топор и одним ударом отрубил товарищу ногу. У Мыхайла вспыхнуло под черепом колючее солнце, и он выл, выл и выл, как волк. А кровь из культи стала прыскать рваными струйками. Морцин заботливо стянул кушаком бедро. Отрубленная нога лежала рядом – причудливый кусок тела, никому ни для чего не нужный.

– Морцин? – выдохнул Мыхайло. – Где Хвощ?

– Кажись, напился и спит. Не болтай. Будет еще больней. – Морцин плеснул масла из лампы на кровоточащую культю и поднес к ней фитиль.

Вспыхнуло пламя, зашкворкал жир, запахло смрадом горелого мяса. Мыхайло погрузился во мрак внутри своей головы, лишь бы подальше от тела, но Собек схватил его за воротник и вырвал из темноты.

– Не засыпай, а то умрешь. Держись. Отрубленная нога болит меньше, чем отстреленная голова.

– Иди прочь, – захрипел главарь дворовых и оттолкнул склонившегося над ним Собека. У парня не было головы, но каким-то образом он все еще мог говорить. Как петух, которому Мыхайло когда-то отрубил голову, а тот все пел и пел, пока не истек кровью. – Идите все ко всем чертям!

И они пошли, забрав Мыхайла с собой.

В это же время, неподалеку, Мацейка прижималась к змеиным рукам. Она задумчиво провела ладонью по покрытому чешуей телу мужчины. Такой он был красивый и молодой, и кожа у него горячая, как будто он вышел прямо из печи. На чердаке было прохладно и душно одновременно, дыхание Мацейки и парня-змея превращалось в клубы пара; натянутая на окошко пленка из рыбьего пузыря вспотела от сырости. Но Мацейка совсем не чувствовала холода, хотя на ней ничего не было.

Она поцеловала спящего парня. От него пахло хвоей и розмарином. Лес и травы, да. И чем-то еще – легкая, едва уловимая нотка масла. Ее собственный запах. Мацейка смутилась от этой мысли, а парень облизал губы во сне. У него был змеиный раздвоенный язык, и он умел делать им чудесные вещи.

– Иди ко мне – прошептала она. – Сделай это еще раз.

И он сделал. Ибо это был час, в который девушке не отказывают. А любовь после страха вкуснее. И чего было бояться?

Мацейка даже хорошо не помнила, что именно произошло после ухода из хаты разбойника, которого другие называли Мыхайлом. Она испугалась, когда дворовый Морцин встал из-за стола, подтянул штаны и сказал, что он сюда приехал не колядовать, а только поесть, попить и потрахаться; и что труп трупом, а разбойники разбойниками, но сам-то он мужик и право имеет. Она испугалась, когда он смерил взглядом всех сестер, потому что откуда-то знала, что он выберет именно ее. Она испугалась, когда он разорвал на ней рубашку, обнажив белые груди. Она испугалась, когда он захохотал и велел ей опереться о стенку и выставить зад, а затем стал задирать ей юбки, одну за другой.

Но больше всего она испугалась, когда она схватила лежащий на запечье ножик, которым ее отец строгал по вечерам из липового дерева разных птичек и рождественские игрушки, и ударила им в жирное брюхо дворового. Морцин удивленно посмотрел на нее, и на мгновение Мацейке показалось, что будет как в страшном сне, в котором нельзя убить преследователя, потому что он бессмертен и сразу встает. Но нет. Разбойник застонал и упал на колени, держась за расплывающееся по рубахе пятно свекольно-красного цвета.

Двое других дворовых вскочили с мест и достали ножи, но одному отец Мацейки жахнул по голове деревянным табуретом. А потом в хату ворвались бескидники. Они ворвались, как у них было принято, с песнями; и больше не надо было бояться дворовых.

Наконец в хату вошел предводитель бескидников. Потом говорили, что это был славный Якуб Шеля. Молодой, даже юный, невесть откуда взявшийся. Он обвел взглядом комнату и тела дворовых.

– Вставайте, челядь, – приказал он.

– Куба, они мертвы, – ответил Ясек Бурмуц, все еще переодетый в жида, в ермолке и с шерстяными пейсами. – Трупы.

– Они не умерли, они спят. Встаньте, пробудитесь.

Однако трупы не дрогнули. Лежали как лежали – один на лавке, с монетами на глазах, другой в луже крови с ножом в брюхе, третий с разбитой башкой, а четвертый порубленный разбойничьими топориками, именуемыми бардками.

Тогда Якуб призвал в третий раз.

Первый очнулся Хвост. Он снял с глаз монеты и уселся на лавку. Он был бледен, но не мертв. Он выглядел так, словно не спал три ночи подряд.

– У меня, сука, сушняк, – пробормотал он.

Потом поднялись Морцин, все еще весь в крови, и тот, с разбитым черепом, и тот, что был порублен.

– Возвращайтесь к своему хозяину, – снова заговорил Якуб. – Скажите ясновельможному Богушу, чтобы они были начеку. Потому что, если я услышу, что он продолжает угнетать хамов, я приду за ним. Да поможет мне Бог на небе и все черти под землей.

– Аминь, – ответили бескидники.

Трупы молча вышли, и тогда Якуб приказал снять Ангела, Черта и Ирода, которые продолжали висеть на балке под потолком. И все радовались, пили и пели, словно была Масленица. Бескидников собралось с полдюжины, не считая Якуба, не считая колядников, и пришлось Любашу всех кур зарубить, чтобы всех угостить как следует. Когда они сели трапезничать, уже приближался поздний зимний предрассветный час. Каждый из разбойников ел за двоих, но Мацейке казалось, что из чулана не убывает ни мяса, ни колбасы, ни сыра, ни пива, ни смальца, ни масла, а куры чудесным образом снова кудахчут в курятнике, а одна из них даже пробралась в сени и обосрала порог. Один из разбойников запел низким, хотя и немного спитым голосом:

Зелены в горах Карпат
В мае полонины.
Эх, пойдем с тобою, брат,
На разбой с дубиной.

Бескидники клевали носом от усталости, песен и пива, но Мацейка видела, как одна из ее сестер тайком ускользнула куда-то с черноволосым разбойником. Любашиха тоже это заметила и собиралась было что-то сказать, но ее опередил старый Любаш.

– Дай им жить, мать. Это такая ночь.

И такая была ночь, а вернее, рассвет, что и Якуб, предводитель разбойников, взял Мацейку за руку. И тогда девушке захотелось спрятаться в его красивых, сильных руках. Якуб

повел ее на чердак, как будто он был у себя дома, и не было больше мира за пределами его рук; ни страха, ни слез, ни помещичьего двора, – вообще ничего.

Такая была ночь Коляды.

XXI. О пробуждении жизни

Сказывают, что с тем колядованием вышло не совсем так, как только что было рассказано, что все это придумала Мацейка вместе с остальными Любашами. Потому что, когда в церковном саду созрели черешни, Мацейка уже ходила с внушительным животом. Известно, что позору будет меньше, если девку на соломе обрюхатил героический разбойник, а не какой-нибудь паренек из соседнего села.

Так что было все не так, как утверждает Мацейка. Так не было и быть не могло, ибо говорят, что Якуб Шеля в юности не уходил ни в какие разбойники.

В тот день, уже не зимой, но еще не весной, Слава вышла будить мир. Снег залегал вокруг грязными лохмотьями, земля спала промерзшая до костей, но утренний ветер впервые в этом году принес теплый аромат новой жизни. И Слава знала, что старое ушло, ушло и не вернется.

Она вышла из хаты. Маленькие уродливые мары с разбитыми головами и несуразно маленькими ножками толкались под самым порогом. Они хныкали и пищали, как котята. Слава раздраженно потрясла висевшей над дверью колотушкой из дерева, лент и мышиных черепов.

– Идите прочь, вам здесь нечего делать. Здесь нет места для вас. А ну, кыш, черти.

Мары визжали и фыркали в зарослях прошлогодней пижмы. Слава знала, что они вернутся, но у нее не было времени забивать себе этим голову. Не сегодня, в первый день нового года.

Она двинулась к реке, к ивам. Зеленый дятел с любопытством обстукивал кору изогнутых деревьев. Он сорвался, испугавшись звука человеческих шагов, но когда увидел, что это всего лишь Слава, снова присел на ближайший ствол, крутя головой то вправо, то влево. Женщина трогала руками ивовые стволы. Она шептала прямо в кору слова, которые на языке людей ничего не значат, а на языке деревьев – значат очень многое. Ивы просыпались рано, и Слава знала, что их живые соки уже начали свое движение, и совсем немного дней осталось до появления первых почек.

Ей хотелось побыть там еще какое-то время, послушать воду, которая никогда не засыпала, даже в самую глубокую зиму, но на другом берегу она заметила Плохого Человека. Он сидел в камышах и крутил в пальцах папиросу. Плохой Человек тоже ее заметил – он скривил красную рожу в ехидной улыбке, высморкался из одной ноздри и помахал Славе. Она фыркнула и двинулась обратно к дому. Однако пошла она окольным путем, чтобы отогнать от себя образ Плохого Человека.

Возвращаясь, она еще заглянула в заросли лещины в заброшенной деревне, потому что орешник просыпается рано. Мало кто помнил о его существовании, но Слава знала вещи и дела, о которых мало кто догадывается.

Старый, раскидистый орешник с крепкими, толстыми ветвями больше напоминал деревья, чем кустарник. Слава вошла в чащу и забралась на косую ветку, словно она вновь стала озорной девчонкой, которая никого не слушает, кроме себя. Кому-то другому, возможно, сделать это было бы трудно – ветки росли густо, а юбка стесняла движения. Орешник – не лучшее дерево для лазания, но те, что росли в старой деревне, приветствовали Славу, как старую подругу.

Солнце, еще несколько часов назад робкое и бледное, теперь грело с юношеской пылкостью. Слава обхватила колени, вытерла со лба густой холодный пот и стала играть с цветами орешника. Продолговатые сережки сыпали желтой пыльцой, от которой свербило в носу, и это было очень приятно.

В этом тепле, под солнцем, что-то шевельнулось у корней деревьев. Женщина почувствовала это сразу. Сначала она подумала, что это погрузившийся в зимний сон барсук, а может, даже молодой медведь, потому что и медведи в последнее время заходят сюда с гор. Но это

было не животное, ибо кровь его пульсировала горем и гневом, такими густыми и черными, какие и не встретишь у животных, разве что у цепных псов. Поэтому Слава подумала, что это может быть кто-то, умерший внезапной смертью, или кто-то, похороненный заживо, или, возможно, призрак – если это так, то скоро здесь появится Плохой Человек. Плохой Человек ловил блуждающие по земле души и помогал им уходить в места, о которых Славе было известно лишь то, что порой они бывали местами хорошими, но чаще всего – бездной отчаяния. А она лучше других понимала, что иногда лучше ничего не делать, чем помогать.

Душа лежала неглубоко под землей, почти на виду. Чудо, что она пережила морозы. Славе в первый момент показалось, что она не жива, что уже находится на стороне смерти, потому что не могла услышать ее сердца; но нет, душа все же жила и извивалась, как гусеница, завернутая в лист. Душа казалась небольшой, и Славе стало ее жаль. Женщина кинула взгляд на восток, затем взглянула на запад. Она посмотрела на север и на юг. Плохого Человека не было видно.

– Иди ко мне, душа. Я заберу тебя домой и откормлю.

Душа весила не много, но и не мало, но Слава умела обращаться с душами, даже если они были вдвое тяжелее, даже если принадлежали лютому разбойнику или матери, утопившей в навозе нежеланного ребенка. А ведь это был не разбойник и не детоубийца, а юноша на пороге мужественности.

Такая мужественность, солнечная и полная жизни, ей очень нравилась. Она завернула душу в снятый с плеч шерстяной плащ и понесла в дом. Слава уложила юношу в свою постель и обеспокоилась тем, что она, возможно, не слишком свежа после зимы. Она аккуратно закрыла дверь на засов и захлопнула ставни.

– Что ты сделал со своим сердцем? – спросила она, но больше себя, чем душу, потому что юноша все еще спал.

Он что-то там бормотал, как будто на мгновение открывал глаза, но смотрел безучастно и тут же возвращался в омут зимних снов. Слава раздела его и умыла; от него приятно пахло землей и юношеским потом, так что ей даже стало жалко его мыть. Но так надо, потому что ничто не пробуждает от оцепенения лучше, чем прохладная вода. Потом она укутала его по самые уши теплым одеялом и прошептала ему на ухо:

– Сейчас я тебя накормлю, мой милый.

Слава расстегнула рубашку и вытащила набухшую от молока грудь. Юноша нежно обхватил губами розовый сосок и пил, и пил, и пил. А когда ему надоело, он просто снова уснул – но это был уже не зимний сон, а сон сытого ребенка.

– Ты ничего не оставишь для нас, хссс?

Слава медленно обернулась.

– У меня есть и вторая грудь, – ответила она и сняла рубашку.

Зашуршало, зашелестело. Отовсюду выползали змеи. Темные головы, изучающие мир раздвоенными языками, высовывались из-под кровати, из запечья, из-под всевозможной утвари, из-за картинок на стене. Гады выползали из горшков и котелков, из старого забытого сапога. Они выбирались из сеней, из дымохода и из печной заслонки, из всех щелей, о существовании которых Слава даже не подозревала.

Змеи облепили ее всю. Они заползали в волосы и под юбки. Они переползали друг через друга, чтобы поскорее добраться до грудного молока.

Славе нравились эти ласки. Змеи нежно кусали ее, их мелкие зубчики и проворные языки больше щекотали, чем причиняли боль. Потому что змеи, несмотря на голод и нетерпение, очень старались, чтобы Слава не обиделась. Все это длилось долго, потому что змей было немало. Когда последняя сытая рептилия отвалилась от ее груди, как пиявка, у женщины закружилась голова. Она опустилась на кровать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.